

**СТЕФАН
ЦВЕЙГ**

ПИСЬМО

НЕЗНАКОМКИ

(СБОРНИК)

Книга в сумочку

Стефан Цвейг

Письмо незнакомки (сборник)

«Public Domain»

1922

УДК 821.112.2-31(436)

ББК 84(8Авс)-44

Цвейг С.

Письмо незнакомки (сборник) / С. Цвейг — «Public Domain»,
1922 — (Книга в сумочку)

ISBN 978-5-04-090906-3

Сколь счастлив тот, кто хотя бы раз пережил страсть – чувство, которое ослепляет, лишает сна и покоя. Но страсть не всегда созидательна. Чаще бывает она мучительной, разрушительной, разъедающей человека. От нее, как от страшного сна, нельзя очнуться. Ей невозможно противостоять, даже если понимаешь, что она тебя губит, что ты пропадаешь. Именно такая страсть интересна писателю. Именно ее исследует Стефан Цвейг в новеллах «Письмо незнакомки», «Двадцать четыре часа из жизни женщины» и «Амок». Новеллы, вошедшие в золотой фонд мировой литературы. Их интересно читать и тем, кто пережил нечто подобное, и тем, кого это только ожидает.

УДК 821.112.2-31(436)

ББК 84(8Авс)-44

ISBN 978-5-04-090906-3

© Цвейг С., 1922

© Public Domain, 1922

Содержание

Письмо незнакомки	6
Амок	25
Двадцать четыре часа из жизни женщины	52

Стефан Цвейг

Письмо незнакомки

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018

* * *

Письмо незнакомки

Когда известный беллетрист Р., после трехдневной поездки для отдыха в горы, возвратился ранним утром в Вену и, купив на вокзале газету, взглянул на число, он вдруг вспомнил, что сегодня день его рождения. Сорок первый, – быстро сообразил он, и этот факт не обрадовал и не огорчил его. Бегло перелистал он шелестящие страницы газеты, взял такси и поехал к себе на квартиру. Слуга доложил ему о приходивших в его отсутствие двух посетителей, о нескольких вызовах по телефону и принес на подносе накопившуюся почту. Писатель лениво просмотрел корреспонденцию, вскрыл несколько конвертов, заинтересовавшись фамилией отправителя; письмо, написанное незнакомым почерком и показавшееся ему слишком объемистым, он отложил в сторону. Слуга подал чай. Удобно усевшись в кресло, он еще раз пробежал газету, заглянул в присланные каталоги, потом закурил сигару и взялся за отложенное письмо.

В нем оказалось около тридцати страниц, и написано оно было незнакомым женским почерком, торопливым и неровным, – скорее рукопись, чем письмо. Р. невольно еще раз ощупал конверт, не осталось ли там сопроводительной записки. Но конверт был пуст, и на нем, так же как и на самом письме, не было ни имени, ни адреса отправителя. Странно, подумал он, и снова взял в руки письмо. «Тебе, никогда не знавшему меня», – с удивлением прочел он не то обращение, не то заголовок... К кому это относилось? К нему или к вымышленному герою? Внезапно в нем проснулось любопытство. И он начал читать.

Мой ребенок вчера умер – три дня и три ночи боролась я со смертью за маленькую, хрупкую жизнь; сорок часов, пока его бедное горячее тельце металось в жару, я не отходила от его постели. Я клала лед на его пылающий лобик, днем и ночью держала в своих руках беспокойные маленькие ручки. На третий день к вечеру силы изменили мне. Глаза закрывались помимо моей воли. Три или четыре часа я проспала, сидя на жестком стуле, а за это время смерть унесла его. Теперь он лежит, милый, бедный мальчик, в своей узкой детской кроватке, такой же, каким я увидела его, когда проснулась; только глаза ему закрыли, его умные, темные глазки, сложили ручки на белой рубашке, и четыре свечи горят высоко по четырем углам кроватки. Я боюсь взглянуть туда, боюсь тронуться с места, потому что пламя свечей колеблется и тени пробегают по его личику, по сжатым губам, и тогда кажется, что его черты оживают, и я готова поверить, что он не умер, что он сейчас проснется и своим звонким голосом скажет мне что-нибудь детское, ласковое. Но я знаю, он умер, я не хочу смотреть на него, чтобы не испытать сладость надежды и горечь разочарования. Я знаю, знаю, мой ребенок вчера умер, – теперь у меня на свете только ты, беспечно играющий жизнью, не подозревающий о моем существовании. Только ты, никогда не знавший меня и которого я всегда любила.

Я зажгла пятую свечу и поставила ее на стол, за которым я тебе пишу. Я не могу остаться одна с моим умершим ребенком и не кричать о своем горе, а с кем же мне говорить в эту страшную минуту, если не с тобой, ведь ты и теперь, как всегда, для меня все! Я, может быть, не сумею ясно говорить с тобой, может быть, ты не поймешь меня – мысли у меня путаются, в висках стучит и все тело ломит. Кажется, у меня жар; может быть, я тоже заболела гриппом, который теперь крадется от дома к дому, и это было бы хорошо, потому что тогда я пошла бы за своим ребенком и все сделалось бы само собой. Иногда у меня темнеет в глазах, я, может быть, не допишу даже до конца это письмо, но я соберу все свои силы, чтобы хоть раз, только этот единственный раз, поговорить с тобой, мой любимый, никогда не узнававший меня.

С тобой одним хочу я говорить, впервые сказать тебе все; ты узнаешь всю мою жизнь, всегда принадлежавшую тебе, хотя ты никогда о ней не знал. Но ты узнаешь мою тайну, только если я умру, – чтобы тебе не пришлось отвечать мне, – только если лихорадка, которая сейчас бросает меня то в жар, то в холод, действительно начало конца. Если же мне суждено жить, я разорву это письмо и буду опять молчать, как всегда молчала. Но если ты удержишь его в

руках, то знай, что в нем умершая рассказывает тебе свою жизнь, свою жизнь, которая была твоей от ее первого до ее последнего сознательного часа. Не бойся моих слов, – мертвая не потребует ничего: ни любви, ни сострадания, ни утешения. Только одного хочу я от тебя, чтобы ты поверил всему, что скажет тебе моя рвущаяся к тебе боль. Поверь всему, только об этом одном прошу я тебя: никто не станет лгать в час смерти своего единственного ребенка.

Я поведаю тебе всю мою жизнь, которая поистине началась лишь в тот день, когда я тебя узнала. До того дня было что-то тусклое и смутное, куда моя память никогда уже не заглядывала, какой-то пропыленный, затянутый паутиной погреб, где жили люди, которых я давно выбросила из сердца. Когда ты появился, мне было тринадцать лет, и я жила в том же доме, где ты теперь живешь, в том самом доме, где ты держишь в руках это письмо – это последнее дыхание моей жизни; я жила на той же лестнице, как раз напротив дверей твоей квартиры. Ты, наверное, уже не помнишь нас, скромную вдову чиновника (она всегда ходила в трауре) и худенького подростка, – мы ведь всегда держались в тени, замкнувшись в своем скудном мещанском существовании. Ты, может быть, никогда и не слышал нашего имени, потому что на нашей двери не было дощечки и никто никогда не приходил к нам и не спрашивал нас. Да и так давно это было, пятнадцать, шестнадцать лет тому назад, нет, ты, конечно, не помнишь этого, любимый; но я – о, я жадно вспоминаю каждую мелочь, я помню, словно это было сегодня, тот день, тот час, когда я впервые услышала о тебе, в первый раз увидела тебя, и как мне не помнить, если тогда для меня открылся мир! Позволь, любимый, рассказать тебе все, с самого начала, подари мне четверть часа и выслушай терпеливо ту, что с таким долготерпением всю жизнь любила тебя.

Прежде чем ты переехал в наш дом, за твоей дверью жили отвратительные, злые, сварливые люди. Хотя они сами были бедны, они ненавидели бедность своих соседей, ненавидели нас, потому что мы не хотели иметь ничего общего с ними. Глава семьи был пьяница и колотил свою жену; мы часто просыпались среди ночи от грохота падающих стульев и разбитых тарелок; раз она выбежала, вся в крови, простоволосая, на лестницу; пьяный с криком преследовал ее, но из других квартир выскочили жильцы и пригрозили ему полицией. Мать с самого начала избегала всякого общения с этой четой и запретила мне разговаривать с их детьми, а они мстили мне за это при каждом удобном случае. На улице они кричали мне вслед всякие гадости, а однажды так закидали меня снежками, что у меня кровь потекла по лицу. Весь дом единодушно ненавидел этих людей, и, когда вдруг что-то случилось, – кажется, муж попал в тюрьму за кражу и они со своим скарбом должны были выехать, – мы все облегченно вздохнули. Два-три дня на воротах висело объявление о сдаче внаем, потом его сняли, и через домоуправителя быстро разнеслась весть, что квартиру снял какой-то писатель, одинокий, солидный господин. Тогда я в первый раз услышала твое имя.

Еще через два-три дня пришли маляры, штукатуры, плотники, обойщики и принялись очищать квартиру от грязи, оставленной ее прежними обитателями. Они стучали молотками, мыли, выметали, скребли, но мать только радовалась и говорила, что наконец-то кончились безобразия у соседей. Тебя самого мне во время переезда еще не пришлось увидеть, за всеми работами присматривал твой слуга, этот невысокий, степенный, седовласый камердинер, смотревший на всех сверху вниз и распорядившийся деловито и без шума. Он сильно imponировал нам всем, во-первых, потому, что камердинер у нас, на окраине, был редкостным явлением, и еще потому, что он держался со всеми необычайно вежливо, не становясь в то же время на равную ногу с простыми слугами и не вступая с ними в дружеские разговоры. Моей матери он с первого же дня стал кланяться почтительно, как даме, и даже ко мне, девчонке, относился приветливо и серьезно. Твое имя он произносил всегда с каким-то особенным уважением, почти благоговейно, и сразу было видно, что это не просто обычная преданность слуги своему господину. И как я потом любила за это славного старого Иоганна, хотя и завидовала ему, что он всегда может быть подле тебя и служить тебе!

Я потому рассказываю тебе все это, любимый, все эти до смешного мелкие пустяки, чтобы ты понял, каким образом ты мог с самого начала приобрести такую власть над робким, запуганным ребенком, каким была я. Еще раньше, чем ты вошел в мою жизнь, вокруг тебя уже создался какой-то нимб, ореол богатства, необычайности и тайны; все мы, в нашем маленьком домике на окраине, нетерпеливо ждали твоего приезда. Ты ведь знаешь, как любопытны люди, живущие в маленьком, тесном мирке. И как разгорелось мое любопытство к тебе, когда однажды, возвращаясь из школы, я увидела перед домом фургон с мебелью! Большую часть тяжелых вещей носильщики уже подняли наверх и теперь переносили отдельные, более мелкие предметы; я остановилась у двери, чтобы все это видеть, потому что все твои вещи чрезвычайно изумляли меня – я таких никогда не видала: тут были индийские божки, итальянские статуи, огромные, удивительно яркие картины, и, наконец, появились книги в таком количестве и такие красивые, что я глазам своим не верила. Их складывали столбиками у двери, там слуга принимал их и каждую заботливо обмахивал метелкой. Сгорая от любопытства, бродила я вокруг все растущей груды; слуга не отгонял меня, но и не поощрял, поэтому я не посмела прикоснуться ни к одной книге, хотя мне очень хотелось потрогать мягкую кожу на переплетах. Я только робко рассматривала сбоку заголовки – тут были французские, английские книги, а некоторые на совершенно непонятных языках. Я часами могла бы любоваться ими, но мать позвала меня в дом.

И вот, еще не зная тебя, я весь вечер думала о тебе. У меня самой был только десяток дешевых книжек в истрепанных бумажных переплетах, которые я все очень любила и постоянно перечитывала. Меня страшно занимала мысль, каким же должен быть человек, который прочел столько прекрасных книг, знает столько языков, который так богат и в то же время так образован. Мне казалось, что таким ученым может быть только какое-нибудь сверхъестественное существо. Я пыталась мысленно нарисовать твой портрет; я воображала тебя стариком, в очках и с длинной белой бородой, похожим на нашего учителя географии, только гораздо добрее, красивее и мягче. Не знаю почему, но, даже когда ты еще представлялся мне стариком, я уже была уверена, что ты должен быть красив. Тогда, в ту ночь, еще не зная тебя, я в первый раз видела тебя во сне.

На следующий день ты переехал, но сколько я ни подглядывала, мне не удалось посмотреть на тебя, и это еще больше возбудило мое любопытство. Наконец, на третий день, я увидела тебя, и как же я была поражена, когда ты оказался совсем другим, ничуть не похожим на образ «боженьки», созданный моим детским воображением. Я грезилась о добродушном старце в очках, и вот явился ты – ты, точно такой, как сегодня, ты, не меняющийся, на ком годы не оставляют следов! На тебе был восхитительный светло-коричневый спортивный костюм, и ты своей удивительно легкой, юношеской походкой, прыгая через две ступеньки, поднимался по лестнице. Шляпу ты держал в руке, и я с неописуемым изумлением увидела твое юное оживленное лицо и светлые волосы. Уверяю тебя – я прямо испугалась, до того меня потрясло, что ты такой молодой, красивый, такой стройный и изящный. И разве не странно: в этот первый миг я сразу ясно ощутила то, что и меня и всех других всегда так поражало в тебе, – твою двойственность: ты – пылкий, легкомысленный, увлекающийся игрой и приключениями юноша и в то же время в своем творчестве неумолимо строгий, верный долгу, бесконечно начитанный и образованный человек. Я безотчетно поняла, как понимали все, что ты живешь двойной жизнью: своей яркой, пестрой стороной она обращена к внешнему миру, а другую, темную, знаешь только ты один; это глубочайшее раздвоение, эту тайну твоего бытия я, тринадцатилетняя девочка, замороженная тобой, ощутила с первого взгляда.

Понимаешь ли ты теперь, любимый, каким чудом, какой заманчивой загадкой стал ты для меня, полурбенка! Человек, перед которым преклонялись, потому что он писал книги, потому что он был знаменит в чуждом мне большом мире, вдруг оказался молодым, юношески веселым двадцатипятилетним щеголем! Нужно ли говорить о том, что с этого дня в нашем

доме, во всем моем скудном детском мирке меня ничто больше не занимало, кроме тебя, что я со всей настойчивостью, со всем цепким упорством тринадцатилетней девочки думала только о тебе, о твоей жизни. Я изучала тебя, изучала твои привычки, приходивших к тебе людей, и все это не только не утоляло моего любопытства, но еще усиливало его, потому что двойственность твоя отчетливо отражалась в разнородности твоих посетителей. Приходили молодые люди, твои приятели, с которыми ты смеялся и шутил; приходили оборванные студенты; а то подъезжали в автомобилях дамы; однажды явился директор оперного театра, знаменитый дирижер, которого я только издали видела с дирижерской палочкой в руках; бывали молоденькие девушки, еще ходившие в коммерческую школу, которые смущались и спешили поскорее юркнуть в дверь, – вообще много, очень много женщин. Я особенно над этим не задумывалась, даже после того, как однажды утром, отправляясь в школу, увидела уходившую от тебя даму под густой вуалью. Мне ведь было только тринадцать лет, и я не знала, что страстное любопытство, с которым я подкарауливала и подстерегала тебя, уже означало любовь.

Но я знаю, любимый, совершенно точно день и час, когда я всей душой и навек отдавалась тебе. Возвратившись с прогулки, я и моя школьная подруга, болтая, стояли у подъезда. В это время подъехал автомобиль, и не успел он остановиться, как ты, со свойственной тебе быстротой и гибкостью движений, которые и сейчас еще пленяют меня, соскочил с подножки. Невольно я бросилась к двери, чтобы открыть ее для тебя, и мы чуть не столкнулись. Ты взглянул на меня теплым, мягким, обволакивающим взглядом и ласково улыбнулся мне – да, именно ласково улыбнулся мне и негромко сказал дружеским тоном: «Большое спасибо, фройлейн».

Вот и все, любимый; но с той самой минуты, как я почувствовала на себе твой мягкий, ласковый взгляд, я была твоя. Позже, и даже очень скоро, я узнала, что ты даришь этот обнимающий, зовущий, обволакивающий и в то же время раздевающий взгляд, взгляд прирожденного соблазнителя, каждой женщине, которая проходит мимо тебя, каждой продавщице в лавке, каждой горничной, которая открывает тебе дверь, – узнала, что этот взгляд не зависит от твоей воли и не выражает никаких чувств, а лишь неизменно сам собой становится теплым и ласковым, когда ты обращаешь его на женщин. Но я, тринадцатилетний ребенок, этого не подозревала, – меня точно огнем опалило. Я думала, что эта ласка только для меня, для меня одной, и в этот миг во мне, подростке, проснулась женщина, и она навек стала твоей.

– Кто это? – спросила меня подруга. Я не могла ей сразу ответить. Я не могла заставить себя произнести твое имя: в этот миг оно уже стало для меня священным, стало моей тайной.

– Просто один из жильцов нашего дома, – неловко пробормотала я.

– Почему же ты так покраснела? – с детской жестокостью злорадно засмеялась подруга. И потому что она, издеваясь надо мной, коснулась моей тайны, кровь еще горячее прилила к моим щекам. От смущения я ответила грубостью и крикнула:

– Дура набитая! – Я готова была ее задушить, но она захохотала еще громче и насмешливее; наконец, слезы бессильного гнева выступили у меня на глазах. Я повернулась к ней спиной и убежала наверх.

С этого мгновения я полюбила тебя. Я знаю, женщины часто говорили тебе, своему баловню, эти слова. Но поверь мне, никто не любил тебя с такой рабской преданностью, с таким самоотвержением, как то существо, которым я была и которым навсегда осталась для тебя, потому что ничто на свете не может сравниться с потаенной любовью ребенка, такой неприязнательной, беззаветной, такой покорной, настороженной и пылкой, какой никогда не бывает требовательная и – пусть бессознательно – помогающая взаимности любовь взрослой женщины. Только одинокие дети могут всецело затаить в себе свою страсть, другие выбалтывают свое чувство подругам, притупляют его признаниями, – они часто слышали и читали о любви и знают, что она неизбежный удел всех людей. Они тешатся ею, как игрушкой, хващают ею, как мальчишки своей первой выкуренной папиросой. Но я – у меня не было никого, кому бы я могла довериться, никто не наставлял и не предостерегал меня, я была неопытна и наивна;

я ринулась в свою судьбу, как в пропасть. Все, что во мне бродило, все, что зрело, я поверяла только тебе, только образу моих грез; отец мой давно умер, от матери, с ее постоянной озабоченностью бедной вдовы, живущей на пенсию, я была далека, легкомысленные школьные подруги отталкивали меня, потому что они беспечно играли тем, что было для меня высшей страстью, – и все то, что обычно дробится и расщепляется в душе, все мои подавляемые, но нетерпеливо пробивающиеся чувства устремились к тебе. Ты был для меня – как объяснить тебе? любое сравнение, взятое в отдельности, слишком узко, – ты был именно всем для меня, всей моей жизнью. Все существовало лишь постольку, поскольку имело отношение к тебе, все в моей жизни лишь в том случае приобретало смысл, если было связано с тобой. Ты изменил всю мою жизнь. До тех пор равнодушная и посредственная ученица, я неожиданно стала первой в классе; я читала сотни книг, читала до глубокой ночи, потому что знала, что ты любишь книги; к удивлению матери, я вдруг начала с неистовым усердием упражняться в игре на рояле, так как предполагала, что ты любишь музыку. Я чистила и чинила свои платья, чтобы не попасться тебе на глаза неряшливо одетой, и я ужасно страдала от четырехугольной заплатки на моем школьном переднике, перешитом из старого платья матери. Я боялась, что ты заметишь эту заплатку и станешь меня презирать, поэтому, взбегая по лестнице, я всегда прижимала к левому боку сумку с книгами и тряслась от страха, как бы ты все-таки не увидел этого изъяна. Но как смешон был мой страх – ведь ты никогда, почти никогда на меня не смотрел!

И все же: я весь день только и делала, что ждала тебя, подглядывала за тобою. В нашей двери был круглый, в медной оправе, глазок, сквозь который можно было видеть твою дверь. Это отверстие – нет, не смейся, любимый, даже теперь, даже теперь я не стыжусь проведенных возле него часов! – было моим окном в мир; там, в ледяной прихожей, боясь, как бы не догадалась мать, я просиживала в засаде, с книгой в руках, целые вечера. Я была словно натянутая струна, начинавшая дрожать при твоём приближении. Я никогда не оставляла тебя; неотступно, с напряженным вниманием следила за тобой, но для тебя это было так же незаметно, как напряжение пружины часов, которые ты носишь в кармане и которые во мраке терпеливо отсчитывают и отмеряют твои дни и сопровождают тебя на твоих путях неслышным биением сердца, а ты лишь в одну из миллионов отстукиваемых ими секунд бросаешь на них беглый взгляд. Я знала о тебе все, знала все твои привычки, все твои галстуки, все костюмы; я знала и скоро научилась различать всех твоих знакомых, я делила их на тех, кто мне нравился, и на тех, кого ненавидела; с тринадцати до шестнадцати лет я жила только тобой. Ах, сколько я делала глупостей! Я целовала ручку двери, к которой прикасалась твоя рука, я подобрала окурок сигары, который ты бросил, прежде чем войти к себе, и он был для меня священен, потому что к нему прикасались твои губы. По вечерам я сотни раз под каким-нибудь предлогом выбегала на улицу, чтобы посмотреть, в какой комнате горит у тебя свет, и сильнее ощутить твое незримое присутствие. А во время твоих отлучек, – у меня сердце сжималось от страха каждый раз, когда я видела славного Иоганна спускающимся вниз с твоим желтым чемоданом, – моя жизнь на долгие недели замирала и теряла всякий смысл. Угрюмая, скучающая, злая, слонялась я по дому, в вечном страхе, как бы мать по моим заплаканным глазам не заметила моего отчаяния.

Я знаю: все, что я тебе рассказываю, – смешные ребячливые выходки. Мне следовало бы стыдиться их, но я не стыжусь, потому что никогда моя любовь к тебе не была чище и пламеннее, чем в то далекое время детских восторгов. Целыми часами, целыми днями могла бы я рассказывать тебе, как я тогда жила тобой, почти не зная твоего лица, потому что при встречах на лестнице я, страшась твоего обжигающего взгляда, опускала голову и мчалась мимо, словно человек, бросающийся в воду, чтобы спастись от огня. Целыми часами, целыми днями могла бы я рассказывать тебе о тех давно забытых тобой годах, могла бы развернуть перед тобой полный календарь твоей жизни; но я не хочу докучать тебе, не хочу тебя мучить. Я только еще расскажу тебе о самом радостном событии моего детства, и, прошу тебя, не смейся надо

мною, потому что как оно ни ничтожно – для меня, ребенка, это было бесконечным счастьем. Случилось это, вероятно, в один из воскресных дней; ты был в отъезде, и твой слуга втаскивал через открытую дверь квартиры только что выколоченные им тяжелые ковры. Старику было трудно, и я, внезапно расхрабрившись, подошла к нему и спросила, не могу ли я ему помочь. Он удивился, но не отверг мою помощь, и таким образом я увидела – если бы только я могла выразить, с каким почтением, с каким благоговейным трепетом! – увидела внутренность твоей квартиры, твой мир, твой письменный стол, за которым ты работал, на нем цветы в синей хрустальной вазе, твои шкафы, картины, книги. Я успела лишь бросить украдкой беглый взгляд на твою жизнь, потому что верный Иоганн, конечно, не позволил бы мне присмотреться ближе, но этим одним-единственным взглядом я впитала в себя всю атмосферу твоей квартиры, и это дало обильную пищу моим бесконечным грезам о тебе во сне и наяву.

Это событие, этот краткий миг был счастливейшим в моем детстве. Я хотела рассказать тебе о нем для того, чтобы ты, не знающий меня, наконец почувствовал, как человеческая жизнь горела и сгорала подле тебя. Об этом событии я хотела рассказать тебе и еще о другом, ужаснейшем, которое, увы, последовало очень скоро за первым. Как я тебе уже говорила, я ради тебя забыла обо всем, не замечала матери и ни на кого и ни на что не обращала внимания. Я проглядела, что один пожилой господин, купец из Инсбрука, дальний свойственник матери, начал часто бывать и засиживаться у нас; я даже радовалась этому, потому что он иногда водил маму в театр и я, оставшись одна, могла без помехи думать о тебе, подстергать тебя, а это было моим высшим, моим единственным счастьем. И вот однажды мать с некоторой торжественностью позвала меня в свою комнату и сказала, что ей нужно серьезно поговорить со мной. Я побледнела, у меня сильно забилося сердце, – уж не возникло ли у нее подозрение, не догадалась ли она о чем-нибудь? Моя первая мысль была о тебе, о тайне, связывавшей меня с миром. Но мать сама казалась смущенной; она нежно поцеловала меня (чего никогда не делала) раз и другой, посадила меня рядом с собой на диван и начала, запинаясь и краснея, рассказывать, что ее родственник-вдовец сделал ей предложение и что она, главным образом ради меня, решила его принять. Еще горячее забилося у меня сердце, – только одной мыслью откликнулась я на слова матери, мыслью о тебе. «Но мы ведь останемся здесь?» – с трудом промолвила я. «Нет, мы переедем в Инсбрук, там у Фердинанда прекрасная вилла». Больше я ничего не слышала. У меня потемнело в глазах. Потом я узнала, что была в обмороке. Я слышала, как мать вполголоса рассказывала ожидавшему за дверью отчиму, что я вдруг отшатнулась и, вскинув руки, рухнула на пол. Не могу тебе описать, что происходило в ближайшие дни, как я, беспомощный ребенок, боролась против всемогущей воли взрослых. Даже сейчас, когда я пишу об этом, у меня дрожит рука. Я не могла выдать свою тайну, поэтому мое сопротивление казалось просто строптивостью, злобным упрямством. Никто больше со мной не заговаривал, все делалось за моей спиной. Для подготовки к переезду пользовались теми часами, когда я была в школе; каждый день, вернувшись домой, я видела, что еще одна вещь продана или увезена. На моих глазах разрушалась наша квартира, а с нею и моя жизнь, и однажды, придя из школы, я узнала, что у нас побывали упаковщики мебели и все вынесли. В пустых комнатах стояли приготовленные к отправке сундуки и две складные койки – для матери и для меня: здесь мы должны были провести еще одну ночь, последнюю, а утром – уехать в Инсбрук.

В этот последний день я с полной ясностью поняла, что не могу жить вдали от тебя. В тебе одном я видела свое спасение. Что я тогда думала и могла ли вообще в эти часы отчаяния разумно рассуждать, этого я никогда не узнаю, но вдруг – мать куда-то отлучилась – я вскочила и как была, в школьном платье, пошла к тебе. Нет, я не шла, какая-то неодолимая сила толкала меня к твоей двери; я вся дрожала и с трудом передвигала одеревеневшие ноги. Я была готова – я и сама не знала точно, чего я хотела – упасть к твоим ногам, молить тебя оставить меня у себя как служанку, как рабыню! Боюсь, что ты посмеешься над одержимостью пятнадцатилетней девочки; но, любимый, ты не стал бы смеяться, если бы знал, как я стояла

тогда на холодной площадке, скованная страхом, и все же, подчиняясь какой-то неведомой силе, заставила мою дрожащую руку, словно отрывая ее от тела, подняться и после короткой жестокой борьбы, продолжавшейся целую вечность, нажать пальцем кнопку звонка. Я по сей день слышу резкий, пронзительный звон и сменившую его тишину, когда вся кровь во мне застыла, когда сердце мое перестало биться и только прислушивалось, не идешь ли ты.

Но ты не вышел. Не вышел никто. Очевидно, тебя не было дома, а Иоганн тоже ушел за какими-нибудь покупками. И вот я побрела, унося в ушах мертвый отзвук звонка, назад в нашу разоренную, опустошенную квартиру и в изнеможении упала на какой-то тюк. От пройденных мною четырех шагов я устала больше, чем если бы несколько часов ходила по глубокому снегу. Но, невзирая ни на что, во мне ярче и ярче разгоралась решимость увидеть тебя, поговорить с тобой, прежде чем меня увезут. Клянусь тебе, ничего другого у меня и в мыслях не было, я еще ни о чем не знала именно потому, что ни о чем, кроме тебя, не думала; я хотела только увидеть тебя, еще раз увидеть, почувствовать твою близость. Всю ночь, всю эту долгую, ужасную ночь я прождала тебя, любимый. Как только мать легла в постель и заснула, я проскользнула в прихожую и стала прислушиваться, не идешь ли ты. Я прождала всю ночь, всю ледяную январскую ночь. Я устала, все тело ломило, и не было даже стула, чтобы присесть; тогда я легла прямо на холодный пол, где сильно дуло из-под двери. В одном лишь тоненьком платье лежала я на жестком голом полу – я даже не завернулась в одеяло, я боялась, что, согревшись, усну и не услышу твоих шагов. Мне было больно, я судорожно поджимала ноги, руки тряслись; приходилось то и дело вставать, чтобы хоть немного согреться, так холодно было в этом ужасном темном углу. Но я все ждала, ждала тебя, как свою судьбу.

Наконец – вероятно, было уже около двух или трех часов – я услышала, как хлопнула внизу входная дверь, и затем на лестнице раздались шаги. В тот же миг я перестала ощущать холод, меня обдало жаром, я тихонько отворила дверь, готовая броситься к тебе навстречу, упасть к твоим ногам... Ах, я даже не знаю, что бы я, глупое дитя, сделала тогда. Шаги приблизились, показался огонек свечи. Дрожа, держалась я за ручку двери. Ты это или кто-нибудь другой?

Да, это был ты, любимый, но ты был не один. Я услышала нервный приглушенный смех, шуршанье шелкового платья и твой тихий голос – ты возвращался домой с какой-то женщиной...

Как я пережила ту ночь, не знаю. Утром, в восемь часов, меня увезли в Инсбрук; у меня больше не было сил сопротивляться.

Мой ребенок вчера ночью умер – теперь я буду опять одна, если мне суждено еще жить. Завтра придут чужие, одетые в черное, развязные люди, принесут с собой гроб, положат в него моего ребенка, мое бедное, мое единственное дитя. Может быть, придут друзья и принесут венки, но что значат цветы возле гроба? Меня станут утешать, говорить мне какие-то слова, слова, слова; но чем это мне поможет? Я знаю, что все равно останусь опять одна. А ведь нет ничего более ужасного, чем одиночество среди людей. Я узнала это тогда, в те бесконечные два года, проведенные в Инсбруке, от шестнадцати до восемнадцати лет, когда я, словно пленница, словно отверженная, жила в своей семье. Отчим, человек очень спокойный, скупой на слова, хорошо относился ко мне; мать, словно стараясь загладить какую-то нечаянную вину передо мной, исполняла все мои желания; молодые люди помогали моему расположению, но я отталкивала всех с каким-то страстным упорством. Я не хотела быть счастливой, не хотела быть довольной – вдали от тебя. Я нарочно замыкалась в мрачном мире самоистязания и одиночества. Новых платьев, которые мне покупали, я не надевала; я отказывалась посещать концерты и театры, принимать участие в пикниках. Я почти не выходила из дому – поверишь ли ты, любимый, что я едва знаю десяток улиц этого маленького городка, где прожила целых два года? Я горевала и хотела горевать, я опьяняла себя каждой каплей горечи, которой могла усугубить мое неутешное горе – не видеть тебя. И, кроме того, я не хотела, чтобы меня отвле-

кали от моей страсти, хотела жить только тобой. Я сидела дома одна, целыми днями ничего не делала и только думала о тебе, снова и снова перебирая тысячу мелких воспоминаний о тебе, каждую встречу, каждое ожидание; я как на сцене разыгрывала в своем воображении все эти мелкие малозначащие случаи. И оттого, что я без конца повторяла минувшие мгновения, все мое детство с такой яркостью запечатлелось в моей памяти и все испытанное мной в те далекие годы я ощущаю так ясно и горячо, как если бы это только вчера волновало мне кровь.

Только тобой жила я то время. Я покупала все твои книги; когда твое имя упоминалось в газете, это было для меня праздником. Поверишь ли ты, я знаю наизусть все твои книги, так часто я их перечитывала. Если бы меня разбудили ночью и прочли мне наугад выхваченную строку, я могла бы еще теперь, через тринадцать лет, продолжить ее без запинки; каждое твое слово было для меня как Евангелие, как молитва. Весь мир существовал только в его связи с тобой; я читала в венских газетах о концертах, о премьерях с одной лишь мыслью, какие из них могут привлечь тебя, а когда наступал вечер, я издали сопровождала тебя: вот тыходишь в зал, вот садишься на свое место. Тысячи раз представляла я себе это, потому что один-единственный раз видела тебя в концерте.

Но к чему рассказывать обо всем этом, об иступленном, трагически бесцельном самоистязании одинокого ребенка, зачем это рассказывать тому, кто никогда ни о чем не подозревал, никогда ни о чем не догадывался? Впрочем, была ли я тогда еще ребенком? Мне исполнилось семнадцать, восемнадцать лет, – на меня начали оглядываться на улице молодые люди, но это только сердило меня. Любовь, или только игра в любовь, к кому-нибудь, кроме тебя, была для меня невысказанна, невозможна, одно уж поползновение на это я сочла бы за измену. Моя страсть к тебе оставалась неизменной, но с окончанием детства, с пробуждением чувств она стала более пламенной, более женственной и земной. И то, чего не понимала девочка, которая, повинувшись безотчетному порыву, позвонила у твоей двери, стало теперь моей единственной мыслью: подарить себя, отдаться тебе.

Окружающие считали меня робкой, называли дикаркой, ибо я, стиснув зубы, хранила свою тайну. Но во мне зрела железная решимость. Все мои мысли и стремления были направлены на одно: назад в Вену, назад к тебе. И я добилась своего, каким бессмысленным и непонятным ни казалось всем мое поведение. Отчим был состоятельный человек и смотрел на меня как на свою дочь. Но я с ожесточением настаивала на том, что хочу сама зарабатывать на жизнь, и наконец мне удалось уехать в Вену и поступить к одному родственнику в его магазин готового платья.

Нужно ли говорить тебе, куда лежал мой первый путь, когда в туманный осенний вечер – наконец-то, наконец! – я очутилась в Вене? Оставив чемоданы на вокзале, я вскочила в трамвай – мне казалось, что он ползет, каждая остановка выводила меня из себя – и бросилась к нашему старому дому. В твоих окнах был свет, сердце пело у меня в груди. Лишь теперь ожил для меня город, встретивший меня так холодно и оглушивший бессмысленным шумом, лишь теперь ожила я сама, ощущая твою близость, тебя, мою немеркнущую мечту. Я ведь не сознавала, что равно чужда тебе вдали, за горами, долами и реками, и теперь, когда только тонкое освещенное стекло в твоём окне отделяло тебя от моего сияющего взгляда. Я все стояла и смотрела вверх; там был свет, родной дом, ты, весь мой мир. Два года я мечтала об этом чаше, и вот он был мне дарован. Я простояла под твоими окнами весь долгий, теплый, мглистый вечер, пока не погас свет. Тогда лишь отправилась я искать свое новое жилье.

Каждый вечер простаивала я так под твоими окнами. До шести я была занята в магазине, занята тяжелой, изнурительной работой; но я радовалась этой беспокойной суете, потому что она отвлекала меня от мучительного беспокойства во мне самой. И как только железные ставни с грохотом опускались за мной, я бежала к твоему дому. Увидеть тебя, встретиться с тобой было моим единственным желанием; еще хоть раз, издали, охватить взглядом твое лицо! Прошло около недели, и наконец я встретила тебя, встретила нечаянно, когда никак этого не

ожидала. Я стояла перед домом и смотрела на твои окна, и в эту минуту ты пересек улицу. И вдруг я опять стала тринадцатилетним ребенком – я почувствовала, как кровь прихлынула к моим щекам, и невольно, вопреки страстному желанию ощутить на себе твой взгляд, я опустила голову и стрелой промчалась мимо тебя. Потом я устыдилась этого малодушного бегства, – я ведь была уже не школьница и хорошо понимала, чего хочу: я искала встречи с тобой, я хотела, чтобы, после долгих сумеречных лет тоски по тебе, ты меня узнал, хотела, чтобы ты заметил меня, полюбил.

Но ты долго не замечал меня, хотя я каждый вечер, невзирая на метель и резкий, пронизывающий венский ветер, простаивала на твоей улице. Иногда я целыми часами ждала напрасно, иногда ты выходил наконец из дому в сопровождении приятелей, и два раза я видела тебя с женщинами; и тут я почувствовала, что я уже не девочка, угадала какую-то новизну, перемену в моей любви к тебе по внезапной острой боли, разрывающей мне сердце, стоило мне увидеть чужую женщину, так уверенно идущей рука об руку с тобой. Это не было неожиданностью для меня: я ведь с малых лет знала, что у тебя постоянно бывают женщины, но теперь это причиняло мне физическую боль, и я с завистливой неприязнью смотрела на эту очевидную, тесную близость с другой. Однажды – по-детски упрямая и гордая, какой я была и, может быть, осталась до сих пор, – я возмутилась и не пошла к твоему дому; но каким ужасно пустым показался мне этот вечер! На другой день я опять смиренно стояла перед твоими окнами, стояла и ждала, как я простояла весь свой век перед твоей закрытой для меня жизнью.

И наконец настал вечер, когда ты заметил меня. Я уже издали тебя увидела и напрягла всю свою волю, чтобы не уклониться от встречи с тобой. Случайно на улице как раз разгружали какую-то подводу, и тебе пришлось пройти вплотную мимо меня. Ты рассеянно взглянул на меня, но в тот же миг, как только ты почувствовал пристальность моего взгляда, в твоих глазах появилось уже знакомое мне выражение – о, как страшно мне было вспомнить об этом! – тот предназначенный женщинам взгляд, нежный, обволакивающий и в то же время раздевающий, тот объемлющий и уже властный взгляд, который когда-то превратил меня, ребенка, в любящую женщину. Секунду-другую этот взгляд приковывал меня – я не могла и не хотела отвести глаза, – и вот ты прошел уже мимо. У меня неистово билось сердце; невольно я замедлила шаги и, уступая непреодолимому любопытству, оглянулась: ты остановился и смотрел мне вслед. И по вниманию и интересу, с каким ты меня разглядывал, я сразу поняла, что ты меня не узнал.

Ты не узнал меня ни тогда, ни после; ты никогда не узнавал меня. Как передать тебе, любимый, все разочарование той минуты? Ведь тогда в первый раз я испытала то, на что обрекла меня судьба, – быть не узнанной тобой всю жизнь, до самой смерти. Как передать тебе мое разочарование! Видишь ли, в те два года жизни в Инсбруке, когда я неустанно думала о тебе и только и делала, что мечтала о нашей будущей встрече в Вене, я, смотря по настроению, рисовала себе самые печальные картины наряду с самыми упоительными. Все было пережито в воображении; в мрачные минуты я предвидела, что ты оттолкнешь меня, с презрением отвернешься от меня, потому что я слишком ничтожна, некрасива, навязчива. Я мысленно вытерпела все муки, причиненные твоей неприязнью, холодностью, равнодушием, но даже в минуты отчаяния, когда я особенно остро сознавала себя недостойной твоей любви, я и мысли не допускала о самом страшном, убийственном: что ты вообще не заметил моего существования. Теперь-то я понимаю, – о, ты научил меня понимать! – как изменчиво для мужчины лицо девушки, женщины, ибо чаще всего оно лишь зеркало, отражающее то страсть, то детскую прихоть, то душевное утомление, и расплывается, исчезает из памяти так же легко, как отражение в зеркале; поэтому мужчине трудно узнать женщину, если годы изменили на ее лице игру света и тени, если одежда создала для нее новую рамку. Поистине мудр только тот, кто покорился своей судьбе. Но я была еще очень молода, и твоя забывчивость казалась мне не постижимой, тем более что, непрестанно думая о тебе, я обольщала себя мыслью, что и ты часто вспоминаешь обо мне и ждешь меня; как могла бы я жить, зная, что я для тебя ничто, что даже

мимолетное воспоминание обо мне никогда не тревожит тебя! И это пробуждение к действительности под твоим взглядом, показавшим мне, что ничто не напомнило тебе обо мне, что ни единая, даже тончайшая, нить воспоминания не протянута от твоей жизни к моей, – было первым жестоким ударом, первым предчувствием моей судьбы.

Ты не узнал меня в тот раз. И когда через два дня при новой встрече ты взглянул на меня почти как на знакомую, ты опять узнал во мне не ту, которая любила тебя, а только хорошенькую восемнадцатилетнюю девушку, встретившуюся тебе на том же месте два дня назад. Ты посмотрел на меня удивленно и приветливо, и легкая улыбка играла на твоих губах. Ты опять прошел мимо меня и, как в тот раз, тотчас же замедлил шаг, – я дрожала, я блаженствовала, я молилась о том, чтобы ты заговорил со мной. Я поняла, что впервые я для тебя живое существо; я тоже пошла тише, я не бежала от тебя. И вдруг я почувствовала, что ты идешь за мной: не оглядываясь, я уже знала, что сейчас услышу твой любимый голос и ты впервые обратишься ко мне. Я вся оцепенела от ожидания, и сердце так колотилось, что мне чуть не пришлось остановиться, но ты уже догнал меня. Ты заговорил со мной с твоей обычной легкостью и веселостью, словно мы были старые знакомые, – ах, ты ведь ничего не знал, ты никогда ничего не знал о моей жизни! – с такой чарующей непринужденностью заговорил ты со мной, что я даже нашла в себе силы отвечать тебе. Мы дошли до угла. Потом ты спросил, не поужинаем ли мы вместе; я сказала «да». В чем я посмела бы отказать тебе?

Мы поужинали вдвоем в небольшом ресторане – помнишь ли ты, где это было? Ах нет, ты, наверное, не можешь отличить этот вечер от других таких же вечеров, ибо кем я была для тебя? Одной из сотен, случайным приключением, звеном в бесконечной цепи. Да и что могло бы напомнить тебе обо мне? Я почти не говорила, это было слишком большое счастье – сидеть подле тебя, слушать твой голос. Я боялась задать вопрос, сказать лишнее слово, чтобы не потерять ни одного драгоценного мгновения. Я всегда с благодарностью вспоминаю, с какой полнотой ты оправдал мои благоговейные ожидания, как чуток ты был, как прост и естественен, без всякой навязчивости, без любезничания; с первой же минуты ты говорил со мной так непринужденно и дружественно, что одним этим ты покоришь меня, если бы я уже давно всеми своими помыслами, всем своим существом не была твоей. Ах, ты ведь не знаешь, какую великую мечту ты для меня осуществил, не обманув моего пятилетнего ожидания!

Было уже поздно, когда мы встали из-за стола. У выхода из ресторана ты спросил меня, спешу ли я или располагаю еще временем. Могла ли я скрыть от тебя мою готовность идти за тобой! Я сказала, что у меня еще есть время. Тогда ты, на секунду замаявшись, спросил, не зайду ли я к тебе поболтать. «Охотно!» – повинувшись непосредственному чувству, сказала я и тут же заметила, что поспешность моего ответа не то покорила, не то обрадовала тебя, но явно поразила. Теперь я понимаю твое удивление: я знаю, что женщины обычно скрывают готовность отдаться, даже если втайне горят желанием, разыгрывают испуг или возмущение и уступают только после настойчивых просьб, заверений, клятв и ложных обещаний. Я знаю, что, может быть, только те, для кого любовь ремесло, только проститутки отвечают немедленным полным согласием на подобное приглашение или же очень юные, совсем неопытные девушки. Но в моем ответе – как мог ты об этом подозревать? – была лишь претворенная в слово упорная воля, неудержимо прорвавшаяся тоска тысячи томительных дней. Так или иначе, ты был изумлен, я заинтересовала тебя. Я заметила, что ты украдкой, с удивлением, посматриваешь на меня. Твое безошибочное чутье, твое вещее знание всего человеческого сразу подсказало тебе, что какая-то загадка, что-то необычное таится в этой миловидной, доверчивой девушке. В тебе проснулось любопытство, и по твоим осторожным, выпытывающим вопросам я поняла, что ты стараешься разгадать эту загадку. Но я уклонилась от прямых ответов: я предпочитала показаться тебе глупой, чем выдать свою тайну.

Мы поднялись к тебе. Прости, любимый, если я скажу тебе, что ты не можешь понять смятение, с каким я вошла в подъезд, поднялась по ступеням, какое это было пьянящее,

иступленное, мучительное, почти смертельное счастье. Мне и теперь трудно без слез вспоминать об этом, а ведь у меня больше нет слез. Но ты вдумайся в то, что ведь все там было как бы пронизано моей страстной любовью, все было символом моего детства, моей тоски: подъезд, перед которым я тысячу раз ждала тебя, лестница, где я прислушивалась к твоим шагам и где впервые увидела тебя, глазок, откуда я следила за тобой, когда всей душой рвалась к тебе; коврик перед твоей дверью, где я однажды стояла на коленях, щелканье ключа в замке – сколько раз я вскакивала, услышав этот звук! Все детство, вся моя страсть запечатлелись на этом тесном пространстве; здесь приютилась вся моя жизнь, и теперь она бурей обрушилась на меня: ведь все, все сбылось, и я шла с тобой – с тобой! – по твоему, по нашему дому. Подумай, – это звучит банально, но я не умею иначе сказать, – вся жизнь для меня, вплоть до твоей двери, была действительность, тупая повседневность, а за ней начиналось волшебное царство ребенка, царство Аладдина; подумай, что я тысячу раз горящими глазами смотрела на эту дверь, в которую теперь вошла, и ты почувствуешь, – только почувствуешь, но никогда не поймешь до конца, любимый! – чем был в моей жизни этот неповторимый миг.

Я оставалась у тебя всю ночь. Ты и не подозревал, что до тебя ни один мужчина не прикоснулся ко мне и не видел моего тела. Да и как ты мог заподозрить это, любимый, – я не противилась тебе, я подавила в себе чувство стыда, лишь бы ты не разгадал тайну моей любви к тебе, ведь она, наверное, испугала бы тебя, потому что ты любишь только все легкое, невесомое, мимолетное, ты боишься вмешаться в чью-нибудь судьбу. Ты расточаешь себя, отдаешь себя всему миру и не хочешь жертв. Если я теперь говорю тебе, любимый, что я отдалась тебе первому, то умоляю тебя: не пойми меня превратно! Я ведь не виню тебя, ты не заманивал меня, не лгал, не соблазнял – я, я сама пришла к тебе, бросилась в твои объятия, бросилась навстречу своей судьбе. Никогда, никогда не стану я обвинять тебя, нет, я всегда буду благодарна тебе, потому что как богата, как озарена счастьем, как напоена блаженством была для меня эта ночь! Когда я в темноте открывала глаза и чувствовала тебя рядом с собой, я удивлялась, что надо мной не звездное небо. Нет, я никогда ни о чем не жалела, любимый, этот час искупил все. И я помню, что, слыша твое сонное дыхание, чувствуя тебя так близко подле себя, я плакала в темноте от счастья.

Утром я заторопилась уходить. Мне нужно было вовремя поспеть в магазин, и, кроме того, я решила уйти раньше, чем придет твой слуга, – я не хотела, чтобы он меня видел. Когда я, уже одетая, стояла пред тобой, ты обнял меня и долго смотрел мне в лицо; мелькнуло ли у тебя воспоминание, далекое и смутное, или просто я показалась тебе красивой оттого, что вся дышала счастьем? Потом ты поцеловал меня в губы. Я тихонько отстранила тебя и повернулась к двери. Ты спросил меня: «Хочешь взять с собой цветы?» Я сказала: «Да». Ты вынул четыре белые розы из синей хрустальной вазы на письменном столе (о, я знала эту вазу еще с того времени, когда ребенком заглянула в твою квартиру). Ты дал мне эти розы, и я еще много дней целовала их.

Мы условились встретиться еще раз. Я пришла, и опять все было чудесно. Еще одну, третью ночь подарил ты мне. Потом ты сказал, что тебе нужно уехать – как я с самого детства ненавидела эти путешествия! – и обещал сейчас же известить меня, когда вернешься домой. Я дала тебе адрес – до востребования; своего имени я не хотела тебе назвать. Я оберегала свою тайну. Ты опять на прощанье дал мне розы – на прощанье!

Каждый день, два месяца подряд, я справлялась... нет, не надо, к чему описывать все эти муки ожидания и отчаяния? Я не виню тебя, я люблю тебя таким, каков ты есть, пылким и забывчивым, увлекающимся и неверным, я люблю тебя таким, только таким, каким ты был всегда, каким остался и поныне. Ты давно уже вернулся, я увидела это по твоим освещенным окнам, но ты мне не написал. У меня нет ни строчки от тебя в этот мой последний час, ни строчки от тебя, кому я отдала всю свою жизнь. Я ждала, ждала с долготерпением отчаяния. Но ты не позвал меня, не написал ни строчки... ни строчки...

Мой ребенок вчера умер – это был и твой ребенок. Это был и твой ребенок, любимый, – дитя одной из тех трех ночей; я клянусь тебе в этом, и ты знаешь, что перед лицом смерти не лгут. Это было наше дитя, клянусь тебе, потому что ни один мужчина не прикоснулся ко мне с того часа, как я отдалась тебе, до другого часа, когда мое дитя исторгли из меня. Мое тело казалось мне священным с тех пор, как его касался ты. Как могла бы я делить себя между тобой, который был для меня всем, и другими, лишь мимолетно появлявшимися в моей жизни? Это было наше дитя, любимый, дитя моей глубокой любви и твоей беззаботной, расточительной, почти бессознательной ласки, наш ребенок, наш сын, наше единственное дитя. Но ты спросишь меня – быть может, с испугом, быть может, только удивленно, – ты спросишь меня, любимый, почему все долгие годы я молчала о нашем ребенке и говорю о нем только сегодня, когда он лежит здесь в темноте, уснув навеки, когда он скоро уйдет и уже никогда, никогда не вернется. Но как я могла сказать тебе? Ты ни за что не поверил бы мне, незнакомой женщине, случайной подруге трех ночей, без сопротивления, по первому твоему слову отдавшейся тебе, ты не поверил бы мне, безыменной участнице мимолетной встречи, что я осталась тебе верна, тебе, неверному, и лишь с сомнением признал бы ты этого ребенка своим! Никогда, даже если бы слова мои показались тебе правдоподобными, не мог бы ты освободиться от тайной мысли, что я пытаюсь навязать тебе, состоятельному человеку, заботу о чужом ребенке. Ты отнесся бы ко мне с подозрением, и между нами осталась бы тень, смутная, неуловимая тень недоверия. Этого я не хотела. И потом, я ведь знала тебя; я знала тебя так, как ты сам едва ли знаешь себя, и я понимала, что тебе, любящему только все беззаботное, легкое, ищущему в любви только игру, было бы тягостно вдруг оказаться отцом, вдруг оказаться ответственным за чью-то судьбу. Ты, привыкший к полнейшей свободе, почувствовал бы себя как-то связанным со мной. И ты – я знаю, это не зависело бы от твоей воли, – возненавидел бы меня за то, что я связала тебя. Может быть, на час, может быть, всего на несколько минут я стала бы тебе в тягость, стала бы тебе ненавистна, – я же в своей гордости хотела, чтобы ты всю жизнь думал обо мне без забот и тревоги. Я предпочитала взять все на себя, чем стать для тебя обузой, я хотела быть единственной среди любивших тебя женщин, о ком ты всегда думал бы с любовью и благодарностью. Но, увы, ты никогда обо мне не думал, ты забыл меня.

Я не виню тебя, любимый, нет, я не виню тебя! Прости мне, если порою капля горечи просачивается в эти строки, – мое дитя, наше дитя лежит ведь мертвое возле меня под мерцающими свечами; я грозила кулаком Богу и называла Его убийцей, мысли у меня мешаются. Прости мне жалобу, прости ее мне! Я ведь знаю, ты добр и отзывчив в глубине души, ты помогаешь любому, помогаешь незнакомым людям, всем, кто бы ни обратился к тебе. Но твоя доброта особого свойства, она открыта для всякого, и всякий волен черпать из нее столько, сколько могут захватить его руки; она велика, безгранична, но, прости меня, – она ленива, она ждет напоминания, просьбы. Ты помогаешь, когда тебя зовут, когда тебя просят, помогаешь из стыда, из слабости, но не из радостной готовности помочь. Ты – позволь тебе это сказать откровенно – человека в нужде и горе любишь не больше, чем баловня счастья, каков ты сам. А людей, подобных тебе, даже самых добрых среди них, тяжело просить. Один раз, когда я еще была ребенком, я видела через глазок, как ты подал милостыню нищему, который позвонил у твоей двери. Ты дал ему денег, прежде чем он успел попросить, и дал много, но ты сделал это как-то испуганно и поспешно, с явным желанием, чтобы он поскорее ушел; и казалось, что ты боишься смотреть ему в глаза. Я навсегда запомнила, как торопливо и смущенно, уклоняясь от благодарности, ты оказал помощь этому нищему. Вот почему я никогда и не обращалась к тебе. Конечно, я знаю, что ты помог бы мне тогда и не имея уверенности, что это твой ребенок, ты утешал бы меня, дал бы мне денег, много денег, но все это с тайным желанием поскорее покончить с этой неприятностью; я даже думаю, ты стал бы уговаривать меня предотвратить появление ребенка. А этого я боялась больше всего – потому что чего бы я не сделала, если бы ты этого пожелал, как могла бы я в чем-нибудь отказать тебе! Но это дитя было для меня всем;

оно ведь было от тебя, повторение тебя самого, но все же не ты, счастливый, беззаботный, которого я не могла удержать, а ты, дарованный мне навсегда, так я думала, – ты, заключенный в моем теле, не отделимый от моей жизни. Теперь я наконец обрела тебя, я могла ощущать всем существом своим, как зреет во мне твоя жизнь, могла кормить, поить, ласкать, целовать тебя, когда жаждой ласки горела душа. Вот почему, любимый, я была так счастлива, зная, что ношу твоего ребенка. Вот почему я скрыла это от тебя, – теперь ты уже не мог от меня ускользнуть.

Любимый, я пережила не только месяцы счастья, рисовавшиеся мне в мечтах; на мою долю выпали и месяцы ужаса и муки, полные отвращения перед людской низостью. Мне пришлось нелегко. В магазин я в последние месяцы ходить не могла, так как родственники заметили бы мое положение и сообщили бы об этом домой. Просить денег у матери я не хотела и жила тем, что продавала кое-какие сохранившиеся у меня ценные вещи. За неделю до родов прачка украла у меня из шкафа последние несколько крон, и мне пришлось лечь в родильный приют. Там, куда от горькой нужды приходят только самые бедные, самые отверженные и забытые, там, в омуте нищеты, родилось твое дитя. В приюте было ужасно: все казалось бесконечно чужим, и мы, одиноко лежавшие там, были друг другу чужие и ненавидели друг друга; только общее несчастье, общая мука загнала нас всех в эту душную, пропитанную хлороформом и кровью, полную криков и стонов палату. Все унижения, какие приходится претерпевать обездоленным, стыд, нравственный и физический, испытала я там наравне с проститутками и больными, страдая от вынужденной близости к ним, от цинизма молодых врачей, которые, усмехаясь, откидывали одеяла и с фальшиво ученым видом трогали беззащитных женщин, от алчности сиделок; о, там человеческую стыдливость распинают взглядами и бичуют словами. Табличка с именем – вот все, что остается от тебя, а то, что лежит на койке, – просто кусок содрогающегося мяса, предмет, выставленный напоказ для изучения; да, женщины, которые в своем доме дарят ребенка любящему, заботливому мужу, – они не знают, что значит рожать одинокой, беззащитной, чуть ли не на лабораторном столе! И даже теперь, когда мне встречается в книге слово «ад», я невольно вспоминаю о битком набитой смрадной палате, полной стонов, истошного крика и грубого смеха, об этой клоаке позора.

Прости, прости мне, что я об этом говорю. Но я делаю это в первый и в последний раз; никогда, никогда уже не заговорю я об этом. Я молчала одиннадцать лет и скоро умолкну навеки; но хоть один раз я должна дать себе волю, должна крикнуть о том, какой дорогой ценой достался мне ребенок, который был счастьем моей жизни и теперь лежит в кроватке бездыханный. Я давно уже все это забыла, забыла в улыбке ребенка, в его смехе, в своей радости; но теперь, когда он умер, мука вновь оживает, и я не могу не кричать, я должна облегчить душу хоть один-единственный раз. Но я обвиняю не тебя, а только Бога, сделавшего бессмысленной перенесенную мной муку. Клянусь тебе, я не тебя обвиняю, и никогда я в гневе не восставала против тебя. Даже в тот час, когда тело мое корчилось в родовых муках, даже в мгновения, когда боль разрывала мне душу, я не обвиняла тебя перед Богом; никогда не жалела я о тех ночах, никогда не проклинала свою любовь к тебе; я всегда любила тебя, всегда благословляла нашу встречу. И если бы повторились те страшные часы в приюте и я знала бы наперед, что меня ожидает, я пошла бы на это еще раз, любимый мой, еще раз и тысячу раз!

Наш ребенок вчера умер – ты никогда не знал его. Никогда, даже в мимолетной случайной встрече твой взгляд не скользнул по маленькому цветущему созданию, рожденному тобой. Я долго скрывалась от тебя; теперь, когда у меня был ребенок, я, кажется, даже любила тебя более спокойной любовью, по крайней мере она уже не причиняла мне нестерпимых страданий. Я не хотела делить себя между тобой и сыном, и я отдала себя не тебе, баловню счастья, чья жизнь проходила мимо меня, а ребенку, которому я была нужна, которого я должна была кормить, которого я могла целовать и прижимать к груди. Я словно освободилась от власти рока, осудившего меня на страсть к тебе, с тех пор как появился на свет другой «ты», поистине принадлежавший мне; лишь редко, очень редко я смиренно приближалась к твоему дому. Но

ко дню твоего рождения, из года в год, я посылала тебе белые розы, точно такие, какие ты подарил мне тогда, после первой ночи нашей любви. Спросил ли ты себя хоть раз за эти десять, за эти одиннадцать лет, кто их тебе посылает? Быть может, ты вспомнил о той, которой ты однажды подарил такие розы? Я не знаю и никогда не узнаю твоего ответа. Только раз в году протянуть их тебе из мрака, воскресить память о той встрече – большего я не требовала.

Ты не знал нашего бедного ребенка, – сегодня я раскаиваюсь, что скрыла его от тебя, потому что ты любил бы его. Ты не знал нашего бедного мальчика, ты никогда не видел, как он улыбался и широко раскрывал свои темные, вдумчивые глаза – твои глаза! – озаряя их лучистым, радостным светом меня и весь мир. Ах, он был такой веселый, такой милый. В нем по-детски повторилась вся твоя живость, твое стремительное, пылкое воображение. Он мог часами самозабвенно играть с чем-нибудь, как ты играешь с жизнью, а потом подолгу просиживать, сосредоточенно хмурия брови, над своими книжками. Он все больше становился тобой. В нем начала уже явственно проступать присущая тебе двойственность, смесь серьезности и легкомыслия, и чем больше он становился похож на тебя, тем сильнее я любила его. Он хорошо учился, болтал по-французски, как сорока, его тетрадки были самые опрятные во всем классе, и как он был хорош в своем черном бархатном костюме или в белой матросской курточке! Он всегда оказывался самым изящным, где бы ни появлялся; когда я гуляла с ним по пляжу в Градо¹, женщины останавливались и гладили его длинные светлые волосы; когда он в Земмеринге катался на санках, люди с восхищением оглядывались на него. Он был такой милый, такой нежный и ласковый. В минувшем году он поступил в интернат Терезианума² и носил свою форму и маленькую шпагу точно паж восемнадцатого века, – теперь на нем только рубашечка, и он лежит, бедный, с посиневшими губами, и руки сложены на груди.

Но ты, может быть, спросишь, как я могла воспитывать ребенка в такой роскоши, как сумела я доставить ему все радости легкой, беззаботной жизни высшего общества. Любимый мой, я говорю с тобой из мрака, я не стыжусь, я скажу тебе, но только не пугайся, любимый, – я продавала себя. Я не стала тем, что называют уличной феей, проституткой, но я продавала себя. У меня были богатые друзья, богатые любовники; сначала я искала их, потом они искали меня, потому что я была – замечал ли ты это когда-нибудь? – очень хороша собой. Все, кому я отдавалась, были благодарны мне, привязывались ко мне, все любили меня, – только ты не полюбил меня, только ты, мой любимый!

Презираешь ли ты меня теперь, после этого признания? Нет, я знаю, ты не презираешь меня; я знаю, ты все понимаешь, поймешь и то, что я поступала так ради тебя, ради твоего второго «я», ради твоего ребенка. Однажды, в палате родильного приюта, я прикоснулась к ужасам нищеты, я знала, что бедного всегда топчут, унижают, что в этом мире он всегда жертва, и я ни за что на свете не хотела, чтобы твое дитя, твое светлое, чудное дитя выросло на дне, среди гольтьбы, среди дикости и пошлости улицы, в зачумленном воздухе задворок. Я не хотела, чтобы его нежные губы произносили грубые слова, чтобы его белого тельца касалось жесткое, заскорузлое белье бедноты, – у твоего ребенка должно было быть все, все богатства, все блага земные, он должен был подняться до тебя, до твоей жизненной сферы.

Поэтому, только поэтому, любимый, продавала я себя. Для меня в этом не было жертвы, ибо то, что принято называть честью или позором, в моих глазах не имело значения; ты не любил меня, ты, единственный, кому по праву принадлежало мое тело, а все остальное было мне безразлично. Ласки мужчин и даже их искренние чувства не вызывали во мне отклика, хотя иных я очень уважала и, памятуя о своей собственной неразделенной любви, от души жалела. Все те, кого я знала, были добры ко мне, все баловали меня, все уважали. Один граф,

¹ Градо – курорт на Адриатическом море.

² Терезианум – учебное заведение для детей австрийской аристократии, основанное императрицей Марией-Терезией в 1740 г.

пожилой вдовец, любил меня как родную дочь, это он обивал пороги, чтобы выхлопотать безродному ребенку, твоему ребенку, прием в Терезианум. Три, четыре раза просил он моей руки – я могла бы быть теперь графиней, владелицей сказочного замка в Тироле, могла бы отбросить все заботы, так как ребенок имел бы нежного, обожающего отца, а я – спокойного, благородного, доброго мужа. Я не согласилась, несмотря на то что причиняла ему боль своим отказом. Быть может, я поступила опрометчиво, и я жила бы теперь где-нибудь в тиши, и мое ненаглядное дитя было бы со мной, но – почему не признаться тебе? – я не хотела себя связывать, хотела в любой час быть свободной для тебя. Где-то, в сокровенной глубине души, все еще таилась давняя детская мечта, что ты еще позовешь меня, хотя бы только на один час. И ради этого одного возможного часа я оттолкнула от себя все, лишь бы быть свободной и явиться по первому твоему зову. Чем была вся моя жизнь с самого пробуждения от детства, как не ожиданием, ожиданием твоей прихоти!

И этот час действительно настал. Но ты не знаешь его, не подозреваешь о нем, мой любимый! Ты не узнал меня и в этот раз – никогда, никогда ты не узнавал меня! Я ведь и раньше часто встречала тебя в театре, на концертах, в Пратере, на улице – каждый раз у меня замирало сердце, но ты не смотрел на меня: я ведь внешне сильно изменилась, из робкого подростка превратилась в женщину; говорили, что я хороша; я всегда была богато одета и окружена поклонниками. Как мог ты признать во мне робкую девушку, которую видел в полумраке своей спальни! Иногда с тобой раскланивался кто-нибудь из сопровождавших меня мужчин; ты отвечал на поклон и бросал взгляд на меня, но этот холодный взгляд был просто данью вежливости, знаком минутного интереса; это был не знающий меня, чужой, страшно чужой взгляд. Помню, однажды это неузнавание, к которому я уже почти привыкла, причинило мне жгучую боль: это было в театре, я сидела в ложе со своим другом, а ты – в соседней ложе. Началась увертюра, свет погас, и я больше не могла видеть твое лицо, но я слышала рядом с собой твое дыхание, как тогда, в ту ночь, а на бархатном барьере, разделявшем наши ложи, покоилась твоя рука, твоя тонкая, нежная рука. И мной овладело неодолимое желание наклониться и смиренно поцеловать эту чужую, столь любимую руку, когда-то ласкавшую меня. Взволнованная звуками музыки, я едва удерживалась, чтобы не прижаться к ней губами, не уступить безумному порыву. После первого акта я попросила моего друга увести меня. Я больше не могла сидеть рядом с тобой в темноте – так близко и... так бесконечно далеко.

Но час настал, он настал еще раз, последний раз в моей разрушенной жизни. Это произошло почти год тому назад, на другой день после дня твоего рождения. И странно: я весь день думала о тебе, потому что день твоего рождения я всегда справляла как праздник. Рано, рано утром я вышла из дому, купила белые розы и, как всегда, послала их тебе, в память о забытом тобой часе. Днем я поехала с мальчиком кататься, потом повела его в кондитерскую Демеля, а вечером в театр, – я хотела, чтобы и он, ни о чем не подозревая, с ранних лет запомнил этот день, как некий таинственный праздник. Назавтра, вечером, я была на концерте с моим тогдашним другом, молодым фабрикантом из Брюнна, с которым жила уже два года; он обожал меня, окружал заботами, хотел, так же как и другие, жениться на мне и встречал с моей стороны такой же, казалось, беспричинный отказ, хотя засыпал меня и ребенка подарками; сам он был человек достойный, и его несколько тупая, но беззаветная преданность заслуживала иного ответа. На концерте мы встретили знакомых и все вместе поехали ужинать в ресторан на Рингштрассе, и вот среди смеха и шуток я предложила заглянуть еще в танцевальный зал – в Табарен. Обычно, когда меня звали в такие места, я отказывалась, потому что слишком шумное, пьяное веселье, неизменно царившее там, было мне противно; но на этот раз какая-то необъяснимая, магическая сила заставила меня высказать пожелание, с бурным одобрением подхваченное всей компанией. Я и сама не знала почему, но меня неудержимо тянуло туда, словно что-то необычайное и неожиданное предстояло мне там. Мои спутники, привыкшие во всем угождать мне, тотчас встали, и мы отправились в Табарен, пили там шампанское, и на

меня нашла такая неистовая, почти мучительная веселость, какой я никогда не испытывала. Я пила и пила, подхватывала гривузные песенки – еще немного, и я пошла бы танцевать или начала хохотать на весь зал. Но вдруг словно ледяным холодом или огненным жаром обдало мое сердце – я увидела тебя: ты сидел за соседним столиком с приятелями и смотрел на меня восхищенным и полным желанием взглядом, тем взглядом, который всегда проникал в самые недра моего существа. Впервые за десять лет ты вновь смотрел на меня со всей присущей тебе силой безотчетной страстности. Я вся задрожала и чуть не выронила из рук поднятый бокал. К счастью, никто из сидевших за нашим столиком не заметил моего смятения, оно затерялось в раскатах смеха и музыки.

Твой взгляд становился все упорней, все пламеннее, он жег меня как огнем. Я силилась понять, узнал ли ты меня наконец или я для тебя опять новая, другая, незнакомая женщина? Кровь прихлынула к моим щекам, я рассеянно отвечала на вопросы моих друзей. Ты не мог не заметить, как взволновал меня твой взгляд. Едва уловимым кивком головы ты сделал мне знак, чтобы я на минуту вышла в вестибюль. Затем ты нарочито громко потребовал счет, простился с приятелями и вышел, еще раз дав мне понять, что будешь ждать меня. Я дрожала, как в ознобе, меня била лихорадка, я не могла выдавить из себя ни слова, не могла смирить охватившее меня волнение. Как раз в эту минуту негритянская пара, дробно стуча каблуками и пронзительно вскрикивая, начала исполнять модный замысловатый танец; все взоры обратились на них, и, пользуясь этим, я встала, сказала моему другу, что сейчас вернусь, и вышла вслед за тобой.

Ты стоял в вестибюле у вешалок и ждал меня; когда я подошла, лицо твое просияло. Улыбаясь, поспешил ты мне навстречу; я сразу увидела, что ты не узнал меня, не узнал во мне ни подростка, ни девушки давно минувших лет; опять тебя влекло ко мне как к чему-то новому, неизвестному. «Найдется у вас как-нибудь и для меня часок?» – спросил ты, и по твоему уверенному, непринужденному тону я поняла, что ты принимаешь меня за одну из тех женщин, которых можно купить на вечер. «Да», – произнесла я то же трепетное, но само собой разумеющееся «да», которое однажды, более десяти лет назад, сказала тебе робкая девушка на сумеречной улице. «Когда мы могли бы увидеться?» – спросил ты. «Когда хотите», – ответила я: перед тобой у меня не было стыда. Ты удивленно взглянул на меня, с таким же недоверчивым любопытством и недоумением, как в тот вечер, когда я точно так же поразила тебя поспешностью, с какой я дала согласие. «Можно и сейчас?» – несколько нерешительно спросил ты. «Да, – ответила я, – идем», – и уже направилась к вешалке, чтобы взять свое манто.

Тут я вспомнила, что номерок от нашего платья остался у моего друга. Вернуться и попросить номерок было невозможно без длительных объяснений; но и пожертвовать часом, который я могла провести с тобой, часом, о котором я мечтала столько лет, я не хотела. Не колеблясь ни минуты, я набросила на вечернее платье шаль и вышла в сырую туманную ночь, не заботясь о своем манто, не думая о добром, любящем меня человеке, на чьи средства я жила уже несколько лет и которого я поставила в самое нелепое и унижительное положение: у всех на глазах его любовница, прожившая с ним два года, убегает по знаку первого встречного. О, я глубоко сознавала всю низость и неблагодарность, все бесстыдство своего поведения; я понимала, что поступаю нелепо и наношу хорошему человеку и верному другу смертельную обиду, понимала, что порываю с налаженным существованием, – но что значила для меня дружба, сама жизнь по сравнению с нетерпеливым желанием вновь ощутить твои губы, услышать нежную ласку твоих слов? Так я любила тебя: теперь я могу сказать тебе это, когда все прошло, все миновало. Мне кажется, если бы ты позвал меня с моего смертного одра, у меня явились бы силы встать и пойти за тобой.

У подъезда стоял экипаж, и мы поехали к тебе. Я снова слышала твой голос, чувствовала твою близость и была так же опьянена, так же по-детски счастлива, как при нашей первой встрече. Я опять поднималась по лестнице впервые после более чем десятилетнего промежутка. Нет, нет, я не могу тебе рассказать, как в эти мгновения я ощущала все вдвойне, в

прошлом и настоящем, и во всем опять-таки только одного тебя. В твоей комнате мало что изменилось: прибавилось только несколько картин, книг, немного новой мебели, и все было так знакомо мне! А на письменном столе стояла ваза с розами – с моими розами, которые я накануне, ко дню рождения, послала тебе в память о той, кого ты все-таки не вспомнил, все-таки не узнал даже теперь, когда она опять была подле тебя и ты соединял с ней уста и руки. Но все же мне отраднo было видеть, что ты хранишь мои цветы, что вокруг тебя витает частица моего «я», дыхание моей любви.

Ты обнял меня. Снова я осталась у тебя на всю долгую ночь. Но и тут ты не узнал меня. Счастливая, принимала я твои ласки и видела, что твоя страсть не знает разницы между любимой и купленной женщиной, что ты предаешься своим желанием со всей беспечной расточительностью твоей натуры. Ты был так нежен и чуток со мной, женщиной, приведенной из ночного ресторана, так дружески сердечен и рыцарски почтителен и в то же время так страстен в наслаждении, что я, пьянея от счастья, как десять лет назад, опять со всей силой почувствовала твою неповторимую двойственность – высокую одухотворенность в любовной страсти, когда-то покоровившую меня, полуробенка. Я не встречала человека, который так пламенно отдавался бы во власть минуты, с такой щедростью раскрывал бы другому сокровеннейшие глубины своей души, – чтобы затем, увы, все померкло в какой-то безграничной, почти противоестественной забывчивости. Но и я забыла о себе. Кто была я, здесь, в темноте, подле тебя? Страстно влюбленная девочка, или мать твоего ребенка, или чужая женщина из ресторана? Ах, все было так знакомо, уже пережито и вместе с тем так упоительно ново в ту блаженную ночь! И я молилась, чтобы ей не было конца.

Но утро настало; мы встали поздно, и ты пригласил меня позавтракать с тобой. Мы пили чай, приготовленный в столовой невидимой услужливой рукой, и непринужденно болтали. Ты опять говорил со мной просто и сердечно, без нескромных вопросов, без малейшего любопытства. Ты не спрашивал ни кто я такая, ни где живу; я была для тебя только случайным приключением, безыменной минутной прихотью, бесследно исчезающей из памяти, как дымок рассеивается в воздухе. Ты рассказал мне, что тебе предстоит большое путешествие в Северную Африку, которое продлится два или три месяца; я задрожала от страха, радость сменилась отчаянием, ибо в ушах у меня уже звучало: «Конец, все прошло и позабыто!» Мне хотелось броситься к твоим ногам и закричать: «Возьми меня с собой, тогда ты узнаешь меня наконец, наконец-то после стольких лет!» Но я была так робка, малодушна, так рабски покорна тебе! Я только сказала: «Как жаль!» Ты, улыбаясь, взглянул на меня: «Тебе правда жаль?»

Тут я не выдержала, поддалась внезапному порыву. Я встала и долгим, пристальным взглядом посмотрела тебе в лицо. Потом сказала: «Тот, кого я любила, тоже всегда уезжал». Я смотрела на тебя, смотрела прямо в глаза. «Сейчас, сейчас он узнает меня!» Я ждала, трепеща от страха и надежды. Но ты улыбнулся мне и сказал в утешение: «Из путешествий ведь возвращаются». «Да, – ответила я, – возвращаются, но успевай забыть».

Должно быть, в тоне, каким я это сказала, прозвучало что-то необычное, слишком страстное, потому что теперь и ты встал и посмотрел на меня с удивлением и теплой лаской. Ты взял меня за плечи. «Хорошее не забывается, тебя я не забуду», – сказал ты и погрузил взгляд в самую глубину моих глаз, словно ты хотел запечатлеть в памяти мой образ. И, чувствуя, как проникает в меня этот ищущий взгляд, впитывающий в себя все мое существо, я подумала, что наконец, наконец пелена упадет с твоих глаз. «Он узнает меня, узнает меня!» Душа моя ликовала от этой мысли.

Но ты не узнал меня. Нет, ты не узнал меня, и никогда я не была столь чужда тебе, ибо... ибо иначе как мог бы ты сделать то, что сделал через несколько минут? Ты поцеловал меня, еще раз страстно поцеловал, так что мне пришлось снова поправить растрепавшиеся волосы. И вот, стоя перед зеркалом, я вдруг увидела – я чуть не упала от ужаса и стыда, – я увидела, как ты украдкой сунул в мою муфту две крупные бумажки. Как я только удержалась, чтобы

не вскрикнуть, не ударить тебя по лицу, – ты платил за эту ночь мне, любившей тебя с детства, матери твоего ребенка! Я была для тебя только проституткой из Табарена, не больше, ты заплатил мне, заплатил! Мало того, что я была забыта тобой, я должна была еще снести от тебя унижение.

Я начала торопливо хватать свои вещи. Только бы уйти, поскорей уйти, – мне было слишком больно. Я взяла шляпу – она лежала на письменном столе возле вазы с белыми розами, моими розами. Тут мной овладело властное, неудержимое желание: я решила сделать еще одну попытку: «Не дашь ли ты мне одну из твоих белых роз?» – «С удовольствием», – ответил ты и тотчас вынул из вазы цветок. «Но, может быть, тебе подарила их женщина, – женщина, которая тебя любит?» – «Может быть, – сказал ты, – не знаю. Они присланы мне, и я не знаю кем. За это я их и люблю». Я взглянула на тебя. «Может быть, они тоже от женщины, забытой тобой!»

Ты изумленно взглянул на меня. Я твердо смотрела тебе прямо в глаза. «Узнай меня, узнай же меня, наконец!» – кричал мой взгляд. Но твой взгляд светился лаской и неведением. Ты еще раз поцеловал меня. Но ты меня не узнал.

Я поспешно направилась к дверям, потому что слезы готовы были брызнуть у меня из глаз, а этого ты не должен был видеть. Я так бежала, что в прихожей чуть не столкнулась с твоим слугой. Он проворно отскочил в сторону, услужливо распахнул передо мной дверь, и в этот миг – ты слышишь? – в этот краткий миг, когда я сквозь слезы взглянула на старика, в его глазах вспыхнул какой-то свет. В этот миг – ты слышишь? – в этот единый миг Иоганн узнал меня, хотя ни разу не видел меня с моего детства. Мне хотелось стать перед ним на колени и целовать ему руки за то, что он узнал меня. Но я только выхватила из муфты эти ужасные деньги, которыми ты пригвоздил меня к позорному столбу, и сунула их старику. Он задрожал, испуганно посмотрел на меня – в эту секунду он, быть может, больше отгадал обо мне, чем ты за всю свою жизнь. Все, все люди любили меня, все были ко мне добры, только ты, только ты один не помнил меня, только ты один ни разу не узнал меня!

Мой ребенок умер, наш ребенок, теперь мне некого любить на всем свете, кроме тебя. Но кто ты для меня, ты, никогда, никогда не узнающий меня, проходящий мимо меня, как мимо прозрачной воды, наступающий на меня, как на камень, ты, неизменно обрекающий меня на разлуку и вечное ожидание? Один раз мне казалось, что я удержала тебя, неуловимого, в ребенке. Но это был твой ребенок: он жестоко покинул меня и отправился в путешествие, он забыл меня и больше не вернется. Я опять одинока, одинока, как никогда, у меня ничего нет, ничего нет от тебя: ни ребенка, ни слова, ни строчки, никакого знака памяти, и если бы ты услышал мое имя, оно ничего не сказало бы тебе. Почему мне не желать смерти, когда я мертва для тебя, почему не уйти, раз ты ушел от меня? Нет, любимый, я не упрекаю тебя, я не хочу вселить свое горе в твой озаренный радостью дом. Не бойся, я не стану больше докучать тебе; прости мне, я должна была излить душу в час смерти своего ребенка. Только раз я должна была все высказать тебе, – потом я опять скроюсь во мраке и буду молчать, как всегда молчала перед тобой. Но ты не услышишь моего стона, пока я жива, – только когда я умру, получишь ты это завещание, завещание женщины, любившей тебя больше, чем все другие, и которой ты никогда не узнавал, всю жизнь ожидавшей тебя и не дождавшейся твоего зова. Быть может, быть может, ты позовешь меня тогда, и я в первый раз нарушу верность тебе: я не услышу тебя из могилы. Я не оставляю тебе ни портрета, ни знака памяти, как и ты мне ничего не оставил; никогда ты не узнаешь меня, никогда. Такова была моя судьба в жизни, пусть будет так и в моей смерти. Я не позову тебя в мой последний час, я ухожу, и ты не знаешь ни моего имени, ни моего лица. Я умираю легко, потому что ты не чувствуешь этого издалека. Если бы тебе было больно, что я умираю, я не могла бы умереть.

Я больше не могу писать... такая тяжесть в голове... все тело ломит, у меня жар... кажется, мне сейчас придется лечь. Может быть, скоро все кончится, может быть, хоть раз судьба сжадется надо мной, и я не увижу, как унесут мое дитя... Я больше не могу писать...

Прощай, любимый, прощай, благодарю тебя. Все, что было, было хорошо, вопреки всему... я буду благодарна тебе до последнего вздоха. Мне хорошо – я сказала тебе все, ты теперь знаешь, нет, ты только догадываешься, как сильно я тебя любила, и в то же время моя любовь не ложится бременем на тебя. Тебе не будет не хватать меня – это меня утешает. Ничто не изменится в твоей прекрасной, светлой жизни... я не омрачу ее своей смертью... это утешает меня, любимый.

Но кто... кто будет посылать тебе белые розы ко дню твоего рождения? Ах, ваза опустеет, легкое дуновение моей жизни, раз в год овевавшее тебя, – развеется и оно! Любимый, послушай, я прошу тебя... это моя первая и последняя просьба к тебе... исполни ее ради меня: каждый год, в день твоего рождения – ведь это день, когда думают о себе, – покупай розы и ставь их в синюю вазу. Делай это, любимый, делай это так, как другие раз в году заказывают панихиду по дорогой им усопшей. Но я больше не верю в Бога и не хочу панихид, я верю только в тебя, я люблю только тебя и жить хочу только в тебе... ах, только один раз в году, незаметно и неслышно, как я жила подле тебя... Прошу тебя, исполни это, любимый... это моя первая просьба к тебе и последняя... благодарю тебя... люблю тебя, люблю... прощай...

Он дрожащей рукой отложил письмо. Потом долго сидел задумавшись. Смутные воспоминания вставали в нем – о соседском ребенке, о девушке, о женщине в ночном ресторане, но воспоминания неясные, расплывчатые, точно контуры камня, мерцающего под водой. Тени набегали и расходились, но образ не возникал. Память о чем-то жила в нем, но о чем – он вспомнить не мог. Ему казалось, что он часто видел все это во сне, в глубоком сне, но только во сне.

Вдруг взгляд его упал на синюю вазу, стоявшую перед ним на письменном столе. Она была пуста, впервые за много лет пуста в день его рождения. Он вздрогнул; ему почудилось, что внезапно распахнулась невидимая дверь и холодный ветер из другого мира ворвался в его тихую комнату. Он ощутил дыхание смерти и дыхание бессмертной любви; что-то раскрылось в его душе, и он подумал об ушедшей жизни, как о бесплотном видении, как о далекой страстной музыке.

АМОК

В марте 1912 года, в Неаполе, при разгрузке в порту большого океанского парохода, произошел своеобразный несчастный случай, по поводу которого в газетах появились подробные, но весьма фантастические сообщения. Хотя я сам был пассажиром «Океании», но, так же как и другие, не мог быть свидетелем этого необыкновенного происшествия; оно случилось в ночное время, при погрузке угля и выгрузке товаров, и мы, спасаясь от шума, съехали все на берег, чтобы провести время в кафе или театре. Все же я лично думаю, что некоторые догадки, которых я тогда публично не высказывал, содержат в себе истинное объяснение той трагической сцены, а давность события позволяет мне использовать доверие, оказанное мне во время одного разговора, непосредственно предшествовавшего странному эпизоду.

Когда я хотел заказать в пароходном агентстве в Калькутте место для возвращения в Европу на борту «Океании», клерк только с сожалением пожал плечами: он не знает, можно ли еще обеспечить мне каюту, так как теперь, перед самым наступлением дождливого времени, все места бывают распроданы уже в Австралии, и он должен сначала дожидаться телеграммы из Сингапура. Но на следующий день он сообщил мне приятную новость, что еще может занять для меня одну каюту, правда не особенно комфортабельную, под палубой и в средней части парохода. Я с нетерпением стремился домой, поэтому, недолго думая, попросил закрепить за мной место.

Клерк правильно осведомил меня. Пароход был переполнен, а каюта плохая – тесный четырехугольный закуток недалеко от машинного отделения, освещенный только тусклым глазом иллюминатора. В душном, застоявшемся воздухе пахло маслом и плесенью; ни на миг нельзя было уйти от электрического вентилятора, который, как обезумевшая стальная летучая мышь, вертелся и визжал над самой головой. Внизу машина кряхтела и стонала, точно грузчик, без конца взбирающийся с кулем угля по одной и той же лестнице; наверху непрерывно шаркали шаги гуляющих по палубе. Поэтому, сунув чемодан в этот затхлый гроб меж серых шпангоутов, я поспешил на палубу и, поднимаясь по трапу, вдохнул, как амбру, мягкий, сладостный воздух, доносимый к нам береговым ветром.

Но и наверху царили сутолока и теснота: тут было полно людей, которые с нервозностью, порожденной вынужденным бездействием, без умолку болтая, расхаживали по палубе. Щебетание и трескотня женщин, безостановочное кружение по тесным закоулкам палубы, назойливая болтовня пассажиров, скоплавшихся перед креслами, – все это почему-то причиняло мне боль. Я только что увидел новый для меня мир, передо мной пронеслись пестрые, мелькающие с бешеной быстротой картины. Теперь я хотел подумать, привести в порядок свои впечатления, воссоздать воображением то, что воспринял глаз, но здесь, на этой шумной, похожей на бульвар палубе, не было ни минуты покоя. Строчки в книге расплывались от мелькания теней проходивших мимо пассажиров. Невозможно было остаться наедине с собой на этой залитой солнцем и полной движения пароходной улице.

Три дня я крепился – смотрел на людей, на море, но море было всегда одинаковое, пустынное и синее, и только на закате вдруг загоралось всеми цветами радуги; а людей я уже через трое суток знал наперечет. Все лица были мне знакомы до тошноты; резкий смех женщин больше не раздражал меня, и не сердили вечные споры двух голландских офицеров, моих соседей. Мне оставалось только бегство; но в каюте было жарко и душно, а в салоне английские мисс непрерывно барабанили на рояле, выбирая для этого самые затасканные вальсы. Кончилось тем, что я решительно изменил порядок дня и нырнул в каюту сразу после обеда, предварительно оглушив себя стаканом-другим пива; это давало мне возможность проспать ужин и вечерние танцы.

Как-то раз я проснулся, когда в моем маленьком гробу было уже совсем темно и тихо. Вентилятор я выключил, и воздух полз по вискам, липкий и влажный. Чувства были притуплены, и мне потребовалось несколько минут, чтобы сообразить, где я и который может быть час. Очевидно, было уже за полночь, потому что я не слышал ни музыки, ни неустанного шарканья ног. Только машина – упрямое сердце левиафана, пыхтя, толкала поскрипывающее тело корабля вперед, в необозримую даль.

Ощупью выбрался я на палубу. Она была пуста. И когда я поднял взор над дымящейся башней трубы и призрачно мерцающим рангоутом, мне вдруг ударил в глаза яркий свет. Небо сияло. Оно казалось темным рядом с белизной пронизывавших его звезд, но все-таки оно сияло, словно бархатный полог застлал какую-то ярко светящуюся поверхность, а искрящиеся звезды – только отверстия и прорезы, сквозь которые просвечивает этот неопишуемый блеск. Никогда не видел я неба таким, как в ту ночь, таким сияющим, холодным как сталь и в то же время переливчато-пенистым, залитым светом, излучаемым луной и звездами, и будто пламенеющим в какой-то таинственной глубине. Белым лаком блестели в лунном свете очертания парохода, резко выделяясь на темном бархате неба; канаты, реи, все контуры растворялись в этом струящемся блеске. Словно в пустоте висели огни на мачтах, а над ними круглый глаз на марсе – земные желтые звезды среди сверкающих небесных.

Над самой головой стояло таинственное созвездие Южного Креста, мерцающими алмазными гвоздями прибитое к небу; казалось, оно колышется, тогда как движение создавал только ход корабля, пловца-гиганта, который, слегка дрожа и дыша полной грудью, то поднимаясь, то опускаясь, подвигался вперед, рассекая темные волны. Я стоял и смотрел вверх. Я чувствовал себя как под душем, где сверху падает теплая вода; только это был свет, белый и теплый, изливавшийся мне на руки, на плечи, нежно струившийся вокруг головы и, казалось, проникавший внутрь, потому что все смутное в моей душе вдруг прояснилось. Я дышал свободно, легко и с восторгом ощущал на губах, как прозрачный напиток, мягкий, словно шипучий, пьянящий воздух, напоенный дыханием плодов и ароматом дальних островов. Только теперь, впервые с тех пор, как я ступил на сходни, я испытал священную радость мечтания и другую, более чувственную: предаться, словно женщина, окружающей меня неге. Мне хотелось лечь и устремить взоры вверх, на белые иероглифы. Но кресла были все убраны, и нигде на всей пустынной палубе я не видел удобного местечка, где можно было бы отдохнуть и помечтать.

Я начал ощупью пробираться вперед, подвигаясь к носовой части парохода, совершенно ослепленный светом, все сильнее изливавшимся на меня со всех сторон. Мне было почти больно от этого резко белого звездного света, мне хотелось укрыться куда-нибудь в тень, растянуться на циновке, не чувствовать блеска на себе, а только над собой и на залитых им предметах – так смотрят на пейзаж из затемненной комнаты. Спотыкаясь о канаты и обходя железные лебедки, я добрался наконец до бака и стал смотреть, как форштевень рассекает мрак и расплавленный лунный свет вскипает пеной по обе стороны лезвия. Неустанно поднимался плуг и вновь опускался, врезаясь в струящуюся черную почву, и я ощущал всю муку побежденной стихии, всю радость земной мощи в этой искрометной игре. И в созерцании я утратил чувство времени. Не знаю, час ли я так простоял или несколько минут; качание огромной колыбели корабля унесло меня за пределы земного. Я чувствовал лишь, что мной овладевает блаженная усталость. Мне хотелось спать, грезить, но жаль было уходить от этих чар, спускаться в мой гроб. Бессознательно я нащупал ногой бухту каната. Я сел, закрыл глаза, но в них все-таки проникал струившийся отовсюду серебристый блеск. Под собой я чувствовал тихое журчание воды, вверху – неслышимый звон белого потока вселенной. И мало-помалу это журчание наполнило все мое существо – я больше не сознавал самого себя, не отличал, мое ли это дыхание или биение далекого сердца корабля; я словно растворился в этом неумолчном журчании полуночного мира.

Тихий сухой кашель послышался возле меня. Я вздрогнул и сразу очнулся от своего опьянения. Глаза, ослепленные белым блеском, проникавшим даже сквозь закрытые веки, с трудом открылись: как раз против меня, в тени борта, сверкало что-то похожее на отблеск от очков; потом вспыхнула большая круглая искра, несомненно огонек трубки. Очевидно, любуясь пеной у носа корабля и Южным Крестом вверху, я не заметил этого соседа, неподвижно сидевшего здесь все время. Невольно, не придя еще в себя, я сказал по-немецки:

– Простите!

– О, пожалуйста... – по-немецки же ответил голос из темноты.

Не могу передать, как странно и жутко было сидеть безмолвно во мраке возле человека, которого я не видел. Я чувствовал, что он смотрит на меня так же напряженно, как и я на него; струящийся и мерцающий белый свет над нами был так ярок, что каждый из нас видел в тени только контур другого. Но мне казалось, что я слышу, как дышит этот человек и как он посасывает свою трубку.

Молчание стало невыносимым. Охотнее всего я ушел бы, но это было бы уж слишком резко и неучтиво. В смущении я достал папиросу. Вспыхнула спичка, и трепетный огонек на секунду осветил наш тесный угол. За стеклами очков я увидел чужое лицо, которого ни разу не замечал на борту – ни за обедом, ни на палубе, – и не знаю, резанула ли мне глаза внезапная вспышка или то была галлюцинация, но лицо показалось мне мрачным, страшно искаженным, нечеловеческим. Однако, прежде чем я мог отчетливо разглядеть его, темнота опять поглотила осветившиеся на миг черты; я видел лишь контур фигуры, темной на темном фоне, и время от времени круглое огненное кольцо трубки. Мы оба молчали, и это молчание угнетало, как душный тропический воздух.

Наконец я не выдержал. Вскочив на ноги, я вежливо сказал:

– Спокойной ночи!

– Спокойной ночи, – ответил из мрака хриплый, жесткий, словно заржавленный, голос.

Я побрел, спотыкаясь о стойки и такелаж. Вдруг позади раздались шаги, торопливые и нетвердые. Это был все тот же незнакомец. Я невольно остановился. Он не подошел вплотную ко мне, и я сквозь мрак ощутил какую-то робость и удрученность в его походке.

– Простите, – поспешно заговорил он, – что я обращаюсь к вам с просьбой. Я... я, – он запнулся и от смущения не сразу мог продолжать, – я... у меня есть личные... чисто личные причины искать уединения... тяжелая утрата... я избегаю общества пассажиров... Вас я не имею в виду... нет, нет... Я хотел только попросить вас... вы меня очень обяжете, если никому на борту не сообщите о том, что видели меня здесь... На это есть... так сказать, личные причины, мешающие мне быть в настоящее время на людях... Да... так вот... мне было бы чрезвычайно неприятно, если бы вы упомянули о том, что кто-то здесь ночью... что я...

Слова опять застряли у него в горле. Я поспешил вывести его из замешательства, тотчас же обещав ему исполнить его просьбу. Мы пожали друг другу руки. Потом я вернулся в свою каюту и уснул тяжелым, тревожным сном, полным причудливых видений.

Я сдержал слово и никому не рассказал о странной встрече, хотя искушение было велико. Во время морского путешествия всякая мелочь – событие, будь то парус на горизонте, взметнувшийся над водой дельфин, завязавшийся новый флирт или случайная шутка. Кроме того, меня мучило желание узнать что-нибудь об этом необыкновенном пассажире. Я просмотрел судовые списки в поисках подходящего имени, присматривался к людям, стараясь отгадать, не имеют ли они к нему отношения; целый день я был во власти лихорадочного нетерпения и ждал вечера, в надежде снова встретиться с незнакомцем. Психологические загадки неодолимо притягивают меня; они волнуют меня до безумия, и я не успокаиваюсь до тех пор, пока мне не удастся проникнуть в их тайну: люди со странностями одним своим присутствием могут зажечь во мне такую жажду заглянуть им в душу, которая немногим отличается от страстного

влечения к женщине. День показался мне бесконечно долгим. Я рано лег в постель, я знал, что в полночь проснусь, что какая-то сила разбудит меня.

И действительно, я проснулся в тот же час, что и вчера. На светящемся циферблате часов стрелки, перекрывая одна другую, слились в единую полоску света. Я поспешно поднялся из душной каюты в еще более душную ночь.

Звезды сверкали, как вчера, и обливали дрожавший пароход рассеянным светом; в вышине горел Южный Крест. Все было как вчера – в тропиках дни и ночи более похожи на близнецов, чем в наших широтах, – только во мне не было вчерашнего нежного, баюкающего, мечтательного опьянения. Что-то влекло меня, тревожило, и я знал, куда меня влечет: туда, к черной путанице снастей на носу – узнать, не сидит ли он там, неподвижный и таинственный. Сверху раздался удар корабельного колокола. Меня словно что-то толкнуло. Шаг за шагом я подвигался вперед, нехотя уступая какой-то притягательной силе. Не успел я еще добраться до места, как впереди что-то вспыхнуло, точно красный глаз, – его трубка. Значит, он там.

Я невольно вздрогнул и остановился. Еще миг, и я повернул бы обратно, но что-то зашевелилось в темноте, кто-то встал, сделал два шага, и вдруг я услышал его голос.

– Простите, – вежливо и как-то виновато сказал он, – вы, очевидно, хотите пройти на ваше место, но мне показалось, что вы раздумали, когда увидели меня. Прошу вас, садитесь, я сейчас уйду.

Я, со своей стороны, поспешил ответить, что прошу его остаться и что я отошел, чтобы не помешать ему.

– Мне вы не мешаете, – не без горечи возразил он, – напротив, я рад поговорить с кем-нибудь. Уже десять дней, как я не произнес ни слова... собственно, даже несколько лет... и мне тяжело – я задыхаюсь, верно, оттого, что должен нести свое бремя молча... Я больше не могу сидеть в каюте, в этом... в этом гробу... я больше не могу... и людей я тоже не переношу, потому что они целый день смеются... Я не могу этого выносить теперь... я слышу это даже в каюте и затыкаю уши... правда, никто ведь не знает, что... они ничего не знают, а потом, какое дело до этого чужим...

Он снова запнулся и вдруг неожиданно и поспешно сказал:

– Но я не хочу стеснять вас... простите мою болтливость.

Он поклонился и хотел уйти. Но я стал настойчиво удерживать его.

– Вы нисколько не стесняете меня. Я тоже рад побеседовать здесь, в тиши... Не хотите ли?

Я протянул ему портсигар, и он взял папиросу. Я зажег спичку. Снова в колеблющемся свете появилось его лицо, оторвавшееся от черного фона; на этот раз оно было прямо обращено ко мне. Глаза из-за очков впились в мое лицо жадно и с какой-то безумной силой. Мне стало жутко. Я чувствовал, что этот человек хочет говорить, что он должен говорить. И я знал, что мне нужно молчать, чтобы облегчить ему это.

Мы снова сели. В его углу стояло второе кресло, которое он и предложил мне. Мы курили, и по тому, как беспокойно прыгало в темноте световое колечко от его папиросы, я видел, что его рука дрожит. Но я молчал, молчал и он. Потом вдруг его голос тихо спросил:

– Вы очень устали?

– Нет, нисколько.

Голос во мраке снова на минуту замер.

– Мне хотелось бы спросить вас кое о чем... то есть я хотел бы вам кое-что рассказать. Я знаю, я прекрасно знаю, как нелепо обращаться к первому встречному, однако... я... я нахожусь в тяжелом психическом состоянии... Я дошел до предела, когда мне во что бы то ни стало нужно с кем-нибудь поговорить... не то я погибну... Вы поймете меня, когда я... да, когда я вам расскажу... Я знаю, что вы не можете помочь мне... но я прямо болен от этого молчания... а больной всегда смешон в глазах других...

Я прервал его и просил не терзаться напрасно. Пусть он, не стесняясь, расскажет мне все... Конечно, я не могу ему ничего обещать, но на всяком человеке лежит долг предложить свою помощь. Когда мы видим ближнего в беде, то, естественно, наш долг помочь ему.

– Долг... предложить свою помощь... долг сделать попытку... Так и вы, значит, думаете, что на нас лежит долг – долг предложить свою помощь?

Трижды повторил он эти слова. Мне стало страшно от этого тупого, упорного повторения. Не сумасшедший ли этот человек? Не пьян ли он?

Но, совершенно точно угадав мою мысль, как будто я произнес ее вслух, он вдруг сказал совсем другим голосом:

– Вы, может быть, принимаете меня за безумного или за пьяного? Нет, этого нет, пока еще нет. Только сказанное вами странно поразило меня... поразило потому, что это как раз то, что меня сейчас мучит, – лежит ли на нас долг... долг...

Он снова начал запинаться. Потом умолк и немного погодя опять заговорил:

– Дело в том, что я врач. В нашей практике часто бывают такие случаи, такие роковые... Ну, скажем, неясные случаи, когда не знаешь, лежит ли на тебе долг... долг ведь не один – есть долг перед ближним, есть еще долг перед самим собой, и перед государством, и перед наукой... Нужно помогать, конечно, для этого мы и существуем... но такие правила хороши только в теории... До каких пределов нужно помогать?.. Вот вы чужой человек, и я для вас чужой, и я прошу вас молчать о том, что вы меня видели... Хорошо, вы молчите, исполняете этот долг... Я прошу вас поговорить со мной, потому что я прямо подыхаю от своего молчания... Вы готовы выслушать меня... Хорошо... Но это ведь легко. А что, если бы я попросил вас взять меня в охапку и бросить за борт?.. Тут уж кончается любезность, готовность помочь. Где-то она должна кончаться... там, где дело касается нашей жизни, нашей личной ответственности... где-то это должно кончаться... где-то должен прекращаться этот долг... или, может быть, как раз у врача он не должен кончаться? Неужели врач должен быть каким-то спасителем, каким-то всесветным помощником только потому, что у него есть диплом с латинскими словами; неужели он действительно должен исковеркать свою жизнь и подлить себе воды в кровь, когда какая-нибудь... когда какой-нибудь пациент является и требует от него благородства, готовности помочь, добронравия? Да, где-нибудь кончается долг... там, где предел нашим силам, именно там...

Он снова приостановился и затем продолжал:

– Простите, я говорю с таким возбуждением, но я не пьян... пока еще не пьян... впрочем, не скрою от вас, что и это со мной теперь часто бывает в этом дьявольском одиночестве... Подумайте – я семь лет прожил почти исключительно среди туземцев и животных... тут можно отучиться от связной речи. А как начнешь говорить, так сразу и хлынет через край... Но подождите... да, я уже вспомнил... я хотел вас спросить, хотел рассказать вам один случай... лежит ли на нас долг помочь... с ангельской чистотой, бескорыстно помочь... Впрочем, я боюсь, что это будет слишком длинная история. Вы в самом деле не устали?

– Да нет же, нисколько.

– Я... я очень признателен вам... Не угодно ли?

Он пошарил где-то за собой в темноте. Звякнули одна о другую две, три, а то и больше бутылок, которые он, видимо, поставил возле себя. Он предложил мне виски; я только пригубил свой стакан, но он разом опрокинул свой. На миг между нами воцарилось молчание. Громко ударил колокол: половина первого.

– Итак... я хочу рассказать вам один случай. Предположите, что врач в одном... в маленьком городке... или, вернее, в деревне... врач, который... врач, который...

Он снова запнулся. Потом вдруг, вместе с креслом, рванулся ко мне.

– Так ничего не выйдет. Я должен рассказать вам все напрямик, с самого начала, а то вы не поймете... Это нельзя изложить в виде примера, в виде отвлеченного случая... я дол-

жен рассказать вам свою историю. Тут не должно быть ни стыда, ни игры в прятки... передо мной ведь тоже люди раздеваются донага и показывают мне свои язвы... Если хочешь, чтобы тебе помогли, то нечего вилять и утаивать... Итак, я не стану рассказывать вам про случай с неким воображаемым врачом... я раздеваюсь перед вами догола и говорю: «я»... Стыдиться я разучился в этом собачьем одиночестве, в этой проклятой стране, которая выедаёт душу и высасывает мозг из костей.

Вероятно, я сделал какое-то движение, так как он вдруг остановился.

– Ах, вы протестуете... понимаю. Вы в восторге от тропиков, от храмов и пальм, от всей романтики двухмесячной поездки. Да, тропики полны очарования, если видеть их только из вагона железной дороги, из автомобиля, из колясочки рикши: я сам это испытал, когда семь лет назад впервые приехал сюда. О чем я только не мечтал – я хотел овладеть языками и читать священные книги в подлинниках, хотел изучать местные болезни, работать для науки, изучать психику туземцев, как говорят на европейском жаргоне, – стать миссионером человечности и цивилизации. Всем, кто сюда приезжает, грезится тот же сон. Но за невидимыми стеклами этой оранжереи человек теряет силы, лихорадка – от нее ведь не уйти, сколько ни глотать хинина – подтачивает нервы, становишься вялым и ленивым, рыхлым, как медуза. Европейец невольно теряет свой моральный облик, когда попадает из больших городов в этакую проклятую болотистую дыру. Рано или поздно пристукнет всякого: одни пьянствуют, другие курят опиум, третьи звереют и свирепствуют – так или иначе, но дуреют все. Тоскуешь по Европе, мечтаешь о том, чтобы когда-нибудь опять пройти по городской улице, посидеть в светлой комнате каменного дома, среди белых людей; год за годом мечтаешь об этом, а наступит срок, когда можно бы получить отпуск, – уже лень двинуться с места. Знаешь, что всеми забыт, что ты чужой, как морская ракушка, на которую всякий наступает ногой. И остаешься, завязнув в своем болоте, и погибаешь в этих жарких, влажных лесах. Будь проклят тот день, когда я продал себя в эту вонючую дыру...

Впрочем, сделал я это не так уж добровольно. Я учился в Германии, стал врачом, даже хорошим врачом, и работал при лейпцигской клинике. В медицинских журналах того времени много писали о новом впрыскивании, которое я первый ввел в практику. Тут я влюбился в одну женщину, с которой познакомился в больнице; она довела своего любовника до иступления, и он выстрелил в нее из револьвера; вскоре и я безумствовал не хуже его. Она обращалась со мной высокомерно и холодно, это и сводило меня с ума – властные и дерзкие женщины всегда умели прибрать меня к рукам, а эта так скрутила меня, что я совсем потерял голову. Я делал все, что она хотела, я... да что там, отчего мне не сказать всего, ведь прошло уже семь лет... я растратил из-за нее больничные деньги, и когда это выплыло наружу, разыгрался скандал. Правда, мой дядя внес недостающую сумму, но моя карьера погибла. В это время я узнал, что голландское правительство вербует врачей для колоний и предлагает подъемные. Я сразу подумал, что это, верно, не сахар, если предлагают деньги вперед! Я знал, что могильные кресты на этих рассадниках малярии растут втрое быстрее, чем у нас; но когда человек молод, ему всегда кажется, что болезнь и смерть грозят кому угодно, но только не ему. Ну, что же, выбора у меня не было, я поехал в Роттердам, подписал контракт на десять лет и получил внушительную пачку банкнот. Половину я отослал домой, дяде, а другую выудила у меня в портовом квартале одна особа, которая сумела обобрать меня дочиста только потому, что была удивительно похожа на ту проклятую кошку. Без денег, без часов, без иллюзий покидал я Европу и не испытывал особой грусти, когда наш пароход выбирался из гавани. А потом я сидел на палубе, как сидите вы, как сидят все, и видел Южный Крест и пальмы. Сердце таяло у меня в груди. Ах, леса, одиночество, тишина! – мечтал я. Ну, одиночества-то я получил довольно. Меня назначили не в Батавию или Сурабайю, в город, где есть люди, и клубы, и гольф, и книги, и газеты, а – Впрочем, название не играет никакой роли – на один из глухих постов в восьми часах езды от ближайшего города. Два-три скучных, иссохших чиновника, несколько полув-

ропейцев из туземных жителей – это было все мое общество, а кроме него вширь и вдаль только лес, плантации, заросли и болота. Вначале еще было сносно. Я много занимался научными наблюдениями. Однажды, когда опрокинулась машина, в которой вице-резидент совершал инспекционную поездку, и он сломал себе ногу, я один, без всяких помощников, сделал ему операцию – об этом много тогда говорили. Я собирал яды и оружие туземцев, занимался множеством мелочей, лишь бы не опуститься. Но все это оказалось возможным только до тех пор, пока во мне жила привезенная из Европы сила; потом я завял. Европейцы наскучили мне, я прервал общение с ними, пил и отдавался думам. Мне оставалось ведь всего три года, потом я мог выйти на пенсию, вернуться в Европу, сызнова начать жить. Собственно говоря, я уже ровно ничего не делал и только ждал, лежал в своей берлоге и ждал. И так я торчал бы там и по сей день, если бы не она... если бы не случилось все это...

Голос во мраке умолк. И трубка больше не тлела. Стало так тихо, что я опять услышал плеск воды, пенившейся под носом парохода, и отдаленный глухой стук машины. Мне хотелось курить, но я боялся зажечь спичку, боялся резкой вспышки огня и отсвета на его лице. Он все молчал. Я не знал, кончил ли он, дремлет ли или спит, таким мертвым казалось мне его молчание.

Вдруг прозвучал отрывистый, сильный удар колокола: час. Он встрепенулся, и я снова услышал звон стакана. Очевидно, его рука ощупью искала виски. Стало слышно, как он глотает, затем вдруг его голос раздался снова, но на этот раз он заговорил более напряженно и страстно.

– Да, так вот... постойте... да, вот как это было. Сижу я там, в своей проклятой дыре, сижу неподвижно, как паук в паутине, уже целые месяцы. Это было как раз после ливней. Неделю за неделей дождь барабанил по крыше, ни одна душа не заглядывала ко мне, ни один европеец; изо дня в день сидел я дома со своими желтолицыми женщинами и своим шотландским виски. Я тогда очень хандрил, я был просто болен Европой: когда я читал в каком-нибудь романе про светлые улицы и белых женщин, у меня начинали дрожать пальцы. Я не могу в точности описать вам это состояние, это особого рода тропическая болезнь: яростная, лихорадочная и в то же время бессильная тоска по родине.

Так я сидел тогда, кажется, с географическим атласом в руках и мечтал о путешествиях. Вдруг раздается тревожный стук в дверь, и я увидел своего боя и одну из женщин. Лица обоих выражают крайнее изумление. Они докладывают, перебивая друг друга и вытаращив глаза: меня спрашивает какая-то дама, леди, белая женщина.

Я вскакиваю. Я не слышал шума экипажа или автомобиля. Белая женщина здесь, в этой глуши?

Я готов уже сбежать с лестницы, но делаю над собой усилие и останавливаюсь. Смотрю мельком в зеркало, наскоро привожу себя немного в порядок. Я нервничаю, чувствую беспокойство, меня мучит дурное предчувствие, так как я не знаю никого на свете, кто по дружбе пришел бы ко мне. Наконец я спускаюсь вниз.

В передней ждет дама. Увидев меня, она поспешно направляется мне навстречу. Густая дорожная вуаль закрывает ее лицо. Я хочу поздороваться с ней, но она сама начинает говорить.

– Добрый день, доктор, – начинает она по-английски. (Ее речь кажется мне слишком плавной и как бы наперед заученной.) – Простите, что я врываюсь к вам. Но мы были как раз на станции, наш автомобиль остался там. – «Почему она не подъехала к дому?» – молнией промелькнуло у меня в голове. – И вот я вспомнила, что вы живете здесь. Я так много слышала о вас, с вице-резидентом вы проделали прямо чудо, его нога отлично зажила, он опять уже играет в гольф. Да, да, у нас все говорят об этом, и мы охотно отдали бы нашего ворчливого военного врача и обоих других в придачу, если бы вы переехали к нам. Вообще, почему вас никогда не видно? Вы живете точно йог...

И так она тараторит без конца, торопится и не дает мне вставить ни слова. Что-то нервное и беспокойное чувствуется в этой пустой болтовне, и я сам заражаюсь беспокойством своей гостью. Почему она так много говорит, задаю я себе вопрос, почему не называет себя? Почему не снимает вуали? Лихорадка у нее, что ли? Больна она? Сумасшедшая? Я все сильнее волнуюсь, чувствую себя в смешном положении, стоя так перед ней под неиссякаемым потоком ее болтовни. Наконец она на миг останавливается, и я прошу ее наверх. Она делает своему бою знак остаться и первая поднимается по лестнице.

– Как у вас мило, – говорит она, осматривая мою комнату. – О, какая прелесть, книги! Я хотела бы их все прочесть! – Она подходит к полке и рассматривает названия книг. В первый раз с тех пор, как я вышел к ней, она на минуту умолкает.

– Разрешите предложить вам чаю? – спрашиваю я. Она, не оборачиваясь, продолжает рассматривать корешки книг.

– Нет, спасибо, доктор... нам нужно сейчас же ехать дальше... у меня мало времени... это была ведь просто прогулка... Ах, у вас есть и Флобер, я его так люблю... чудесная, удивительная вещь его «Education sentimentale»³... Я вижу, вы читаете и по-французски. Чего только вы не знаете!.. Да, немцы... их всему учат в школе... Право, удивительно – знать столько языков!.. Вице-резидент бредит вами и всегда говорит, что вы единственный хирург, к кому он лег бы под нож... Наш старый доктор годится только для игры в бридж... Кстати, знаете ли (она все еще говорит не оборачиваясь), сегодня мне самой пришлось в голову, что хорошо было бы посоветоваться с вами... а мы как раз проезжали мимо, я и подумала... Ну, вы сегодня, может быть, заняты... я лучше заеду в другой раз.

«Наконец-то ты раскрыла карты!» – сейчас же подумал я. Но я и виду не подал и заверил ее, что сочту за честь быть полезным ей теперь или когда ей угодно.

– У меня ничего серьезного, – сказала она, полуобернувшись ко мне и в то же время перелистывая книгу, снятую с полки, – ничего серьезного, пустяки... женские неполадки, головокружение, обмороки. Сегодня утром, во время езды, на повороте мне вдруг стало дурно, я упала без чувств... бой должен был поднять меня и принести воды... Ну, может быть, шофер слишком быстро ехал... как вы думаете, доктор?

– Так трудно сказать. У вас часто подобные обмороки?

– Нет... то есть да... в последнее время... именно в последнее время... да... обмороки и тошнота.

Она уже опять повернулась к книжному шкафу, ставит книгу на место, вынимает другую и начинает перелистывать. Удивительно, почему это она все перелистывает... так нервно, почему не подымает глаз из-под вуали? Я намеренно ничего не говорю. Мне хочется заставить ее ждать. Наконец она снова начинает тоном легкой болтовни:

– Не правда ли, доктор, в этом нет ничего серьезного? Это не какая-нибудь опасная тропическая болезнь?

– Я должен сначала посмотреть, нет ли у вас жара. Позвольте ваш пульс...

Я направляюсь к ней, но она слегка отстраняется.

– Нет, нет, у меня нет жара... безусловно, безусловно, нет... я измеряю температуру каждый день, с тех пор... с тех пор как начались эти обмороки. Жара нет, всегда тридцать шесть и четыре. И желудок в порядке.

Я медлю. Во мне все растет подозрение: я чувствую, что эта женщина чего-то от меня хочет, в такую глушь ведь не приезжают, чтобы поговорить о Флобере. Я заставляю ее ждать минуту, другую.

– Простите, – говорю я затем, – разрешите мне задать вам несколько вопросов?

³ «Воспитание чувств» (фр.).

– Конечно, вы ведь врач! – отвечает она, но тут же опять поворачивается ко мне спиной и начинает перебирать книги.

– У вас есть дети?

– Да, сын.

– А было ли у вас... было ли у вас раньше... я хочу сказать – тогда... были ли у вас подобные явления?

– Да.

Ее голос стал теперь совсем другим, отчетливым, без всякого жеманства и нервности.

– А возможно ли, чтобы вы... простите за вопрос... возможно ли, чтобы сейчас была та же причина?

– Да.

Резко, словно острым ножом, отрезала она это. Ничто не дрогнуло в ее лице, которое я видел в профиль.

– Лучше всего, сударыня, если я осмотрю вас... вы разрешите попросить вас... перейти в другую комнату?

Тут она вдруг оборачивается. Сквозь вуаль я чувствую ее холодный, решительный взгляд, устремленный на меня.

– Нет... в этом нет надобности... я вполне уверена в причине моего недомогания.

Голос на мгновение умолк. В темноте снова блеснул наполненный стакан.

– Итак, слушайте... но сначала постарайтесь вдуматься во все это: к человеку, погибающему от одиночества, вторгается женщина, впервые за много лет белая женщина переступает порог его комнаты... И вдруг я чувствую присутствие в комнате чего-то зловещего, какой-то опасности. Я весь похолодел: мной овладел страх перед железной решимостью этой женщины, начавшей с беспечной болтовни, а потом вдруг обнажившей свое требование, словно сверкнувший клинок. Я знал ведь, чего она от меня хотела, угадал это сразу – не в первый раз женщина обращалась ко мне с такой просьбой, но они приходили не так, приходили пристыженные и умоляющие, плакали и заклинали спасти их. Но тут была... тут была железная, чисто мужская решимость... с первой секунды почувствовал я, что эта женщина сильнее меня... что она может подчинить меня своей воле... Однако... однако... во мне поднималась какая-то злоба... гордость мужчины, обида, потому что... я сказал уже, что с первой секунды, даже раньше, чем я увидел эту женщину, я почувствовал в ней врага.

Сначала я молчал. Молчал упорно и ожесточенно. Я чувствовал, что она смотрит на меня из-под вуали, смотрит прямо, требовательно и хочет заставить меня говорить. Но я не уступал. Я заговорил, но... уклончиво... невольно переняв ее болтливый, равнодушный тон. Я притворился, что не понял ее, потому что – не знаю, можете ли вы понять это – я хотел заставить ее высказаться яснее, я не хотел предлагать, наоборот... хотел, чтобы она попросила... именно она, явившаяся с таким повелительным видом... И, кроме того, я знал, какую власть надо мной имеют такие высокомерные, холодные женщины.

Я ходил вокруг да около, говорил, что ей нечего опасаться, что такие обмороки в порядке вещей, более того, они даже являются залогом нормального развития беременности. Я приводил случаи из медицинских журналов... Я говорил, говорил спокойно и легко, рассматривая ее недомогание как нечто весьма обычное, и... все ждал, что она меня остановит. Я знал, что она не выдержит.

И действительно, она резким движением прервала меня, словно отменяя все эти успокоительные разговоры.

– Меня, доктор, не это тревожит. В тот раз, когда я носила первого ребенка, мое здоровье было в лучшем состоянии... но теперь я уж не та... у меня бывают сердечные припадки...

– Вот как, сердечные припадки? – повторил я, изображая на лице беспокойство. – Сейчас послушаем! – Я сделал вид, что встаю, чтобы достать трубку. Но она мгновенно остановила меня. Голос ее звучал теперь резко и повелительно, как команда.

– У меня бывают припадки, доктор, и я попрошу вас верить моим словам. Я не хотела бы терять время на исследования – вы могли бы, думается, оказать мне немного больше доверия. Я, со своей стороны, достаточно доказала свое доверие к вам.

Теперь это была уже борьба, открыто брошенный вызов. И я принял его.

– Доверие требует откровенности, полной откровенности. Говорите ясно, я ведь врач. И первым делом снимите вуаль, садитесь сюда, оставьте книги и все эти уловки. К врачу не приходят под вуалью.

Гордо выпрямившись, она окинула меня взглядом. Минуту помедлила. Потом села и подняла вуаль. Я увидел лицо – такое, какое боялся увидеть: непроницаемое, свидетельствующее о твердом, решительном характере, отмеченное не зависящей от возраста красотой, с серыми глазами, какие часто бывают у англичанок, – очень спокойные, но скрывающие затаенный огонь. Эти тонкие сжатые губы умели хранить тайну. Она смотрела на меня повелительно и испытующе, с такой холодной жестокостью, что я не выдержал и невольно отвел взгляд.

Она слегка постукивала пальцами по столу. Значит, и она нервничала. Затем она вдруг сказала:

– Знаете вы, доктор, чего я от вас хочу, или не знаете?

– Кажется, знаю. Но лучше поговорим начистоту. Вы хотите освободиться от вашего состояния... хотите, чтобы я избавил вас от обмороков и тошноты, устранив... устранив причину. В этом все дело?

– Да.

Как нож гильотины, упало это слово.

– А вы знаете, что подобные эксперименты опасны... для обеих сторон?

– Да.

– Что закон запрещает их?

– Бывают случаи, когда это не только не запрещено, но, напротив, рекомендуется.

– Но это требует заключения врача.

– Так вы дайте это заключение. Вы – врач.

Ясно, твердо, не мигая, смотрели на меня ее глаза. Это был приказ, и я, малодушный человек, дрожал, пораженный демонической силой ее воли. Но я еще корчился, не хотел показать, что уже раздавлен. «Только не спешить! Всячески оттягивать! Принудить ее просить», – нашептывало мне какое-то смутное вожеление.

– Это не всегда во власти врача. Но я готов... посоветоваться с коллегой в больнице...

– Не надо мне вашего коллеги... я пришла к вам.

– Позвольте узнать, почему именно ко мне?

Она холодно взглянула на меня.

– Не вижу причины скрывать это от вас. Вы живете в стороне, вы меня не знаете, вы хороший врач, и вы... – она в первый раз запнулась, – вероятно, недолго пробудете в этих местах, особенно если... если вы сможете увезти домой значительную сумму.

Меня так и обдало холодом. Эта сухая, чисто коммерческая расчетливость ошеломила меня. До сих пор губы ее еще не раскрылись для просьбы, но она давно уже все вычислила и сначала выследила меня, как дичь, а потом начала травлю. Я чувствовал, как проникает в меня ее демоническая воля, но сопротивлялся с ожесточением. Еще раз заставил я себя принять деловитый, почти иронический тон.

– И эту значительную сумму вы... вы предоставили бы в мое распоряжение?

– За вашу помощь и немедленный отъезд.

– Вы знаете, что я, таким образом, теряю право на пенсию?

– Я возьму вам ее.

– Вы говорите очень ясно... Но я хотел бы еще большей ясности. Какую сумму имели вы в виду в качестве гонорара?

– Двенадцать тысяч гульденов, с выплатой по чеку в Амстердаме.

Я задрожал... задрожал от гнева и... от восхищения. Все она рассчитала – и сумму, и способ платежа, принуждавший меня к отъезду, она меня оценила и купила, не зная меня, распорядилась мной, уверенная в своей власти. Мне хотелось ударить ее по лицу... Но когда я поднялся (она тоже встала) и посмотрел ей прямо в глаза, взглянул на этот плотно сжатый рот, не желавший просить, на этот надменный лоб, не желавший склониться, мной вдруг овладела... овладела... какая-то жажда мести, насилия. Должно быть, и она это почувствовала, потому что высоко подняла брови, как делают, когда хотят осадить навязчивого человека; ни она, ни я уже не скрывали своей ненависти. Я знал, что она ненавидит меня, потому что нуждается во мне, а я ее ненавидел за то... за то, что она не хотела просить. В эту секунду, в эту единственную секунду молчания мы в первый раз заговорили вполне откровенно. Потом, словно липкий гад, впилась в меня мысль, и я сказал... сказал ей...

Но постойте, так вам не понять, что я сделал... что сказал... мне нужно сначала объяснить вам, как... как зародилась во мне эта безумная мысль...

Опять тихонько звякнул во тьме стакан. И голос продолжал с еще большим волнением:

– Не думайте, что я хочу умалять свою вину, оправдываться, обелять себя... Но вы без этого не поймете... Не знаю, был ли я когда-нибудь хорошим человеком... но, кажется, помогал я всегда охотно... А там в моей собачьей жизни это была ведь единственная радость: пользуясь горсточкой знаний, вколоченных в мозг, сохранить жизнь живому существу... Я чувствовал себя тогда Господом Богом... Право, это были мои лучшие минуты, когда приходил этакий желтый парнишка, посиневший от страха, со змеиным укусом на вспухшей ноге, слезно умоляя, чтобы ему не отрезали ногу, и я умудрялся спасти его. Я ездил в самые отдаленные места, чтобы помочь лежавшей в лихорадке женщине; случалось мне оказывать и такую помощь, какой ждала от меня сегодняшняя посетительница, – еще в Европе, в клинике. Но тогда я чувствовал, что я кому-то нужен, тогда я знал, что спасаю кого-то от смерти или от отчаяния, а это и нужно самому помогающему, – сознание, что ты нужен другому.

Но эта женщина – не знаю, сумею ли я объяснить вам, – она волновала, раздражала меня с той минуты, как вошла, словно мимоходом, в мой дом. Своим высокомерием она вызывала меня на сопротивление, будила во мне все... как бы это сказать... будила все подавленное, все скрытое, все злое. Меня сводило с ума, что она разыгрывает передо мной леди и с холодным равнодушием предлагает мне сделку, когда речь идет о жизни и смерти. И потом... потом... в конце концов, от игры в гольф не рождаются дети... я знал... то есть я вдруг с ужасающей ясностью подумал – это и была та мысль, – с ужасающей ясностью подумал о том, что эта спокойная, эта неприступная, эта холодная женщина, презрительно поднявшая брови над своими стальными глазами, когда прочла в моем взгляде отказ... почти негодование, – что она два-три месяца назад лежала в постели с мужчиной и, может быть, стонала от наслаждения, и тела их впивались друг в друга, как уста в поцелуе... Вот это, вот это и была пронзившая меня мысль, когда она посмотрела на меня с таким высокомерием, с такой надменной холодностью, словно английский офицер... И тогда, тогда у меня помутилось в голове... я обезумел от желания унижить ее... С этого мгновения я видел сквозь платье ее голое тело... с этого мгновения я только и жил мыслью овладеть ею, вырвать стон из ее жестоких губ, видеть эту холодную, эту гордую женщину в угаре страсти, как тот, другой, которого я не знал. Это... это я и хотел вам объяснить... Как я ни опустил, я никогда еще не злоупотреблял своим положением врача... но здесь не было влечения, не было ничего сексуального, поверьте мне... я ведь не стал бы отпираться... только страстное желание победить ее гордость... победить как мужчина... Я, кажется, уже говорил вам, что высокомерные, по виду холодные женщины всегда имели надо

мною особую власть... но теперь, теперь к этому прибавлялось еще то, что я уже семь лет не знал белой женщины, что я не встречал сопротивления... Здешние женщины, эти щебечущие милые создания, с благоговейным трепетом отдаются белому человеку, «господину»... Они смиренны и покорны, всегда доступны, всегда готовы угождать вам с тихим гортанным смехом... Но именно из-за этой покорности, из-за этой рабской угодливости чувствуешь себя свиньей... Понимаете ли вы теперь, понимаете ли вы, как ошеломляюще подействовало на меня внезапное появление этой женщины, полной презрения и ненависти, наглухо замкнутой и в то же время дразнящей своей тайной и напоминанием о недавней страсти, когда она дерзко вошла в клетку такого мужчины, как я, такого одинокого, изголодавшегося, отрезанного от всего мира полузверя... Это... вот это я хотел вам сказать, чтобы вы поняли все остальное... поняли то, что произошло потом. Итак... полный какого-то злого желания, отравленный мыслью о ней, обнаженной, чувственной, отдающейся, я внутренне весь подобрался и разыграл равнодушные. Я холодно произнес:

– Двенадцать тысяч гульденов?.. Нет, на это я не согласен.

Она взглянула на меня, немного побледнев. Вероятно, она уже догадывалась, что мой отказ вызван не алчностью. Все же она спросила:

– Сколько же вы хотите?

Но я не желал продолжать разговор в притворно равнодушном тоне.

– Будем играть в открытую. Я не делец... не бедный аптекарь из «Ромео и Джульетты», продающий яд за *corrupted gold*⁴; может быть, я меньше всего делец... этим путем вы своего не добьетесь.

– Так вы не желаете?

– За деньги – нет.

На миг между нами воцарилось молчание. Было так тихо, что я в первый раз услышал ее дыхание.

– Чего же вы еще можете хотеть?

Тут меня прорвало:

– Прежде всего я хочу, чтобы вы... чтобы вы обращались ко мне не как к торгашу, а как к человеку... Чтобы вы, если вам нужна помощь, не... совали сразу же ваши гнусные деньги... а попросили... попросили меня, как человека, помочь вам, как человеку... Я не только врач, у меня не только приемные часы... у меня бывают и другие часы... может быть, вы пришли в такой час...

Она минуту молчит. Потом ее губы слегка кривятся, дрожат, и она быстро произносит:

– Значит, если бы я вас попросила... тогда вы бы это сделали?

– Вот вы уже опять торгуетесь! Вы согласны попросить только в том случае, если я сначала обещаю! Сначала вы должны меня попросить, тогда я вам отвечу.

Она вскидывает голову, как норовистый конь. С гневом смотрит на меня.

– Нет, я не стану вас просить. Лучше погибнуть!

Тут мною овладевает гнев, неистовый, безумный гнев.

– Тогда требую я, раз вы не хотите просить. Я думаю, мне не нужно выражаться яснее – вы знаете, чего я от вас хочу. Тогда... тогда я вам помогу.

Она с изумлением посмотрела на меня. Потом – о, я не могу, не могу передать, как ужасно это было, – на миг ее лицо словно окаменело, а потом... потом она вдруг расхохоталась... с неопишым презрением расхохоталась мне прямо в лицо... с презрением, которое уничтожило меня... и в то же время еще больше опьянило... Это было похоже на взрыв, внезапный, раскатистый, мощный... Такая огромная сила чувствовалась в этом презрительном смехе, что

⁴ Презренное золото (*англ.*).

я... да, я готов был пасть перед ней ниц и целовать ее ноги. Это продолжалось одно мгновение... словно молния огнем опалила меня... Вдруг она повернулась и быстро пошла к двери.

Я невольно бросился за ней... хотел объяснить ей... умолять ее о прощении... моя сила была ведь окончательно сломлена... но она еще раз оглянулась и проговорила... нет, приказала:

– Посмейте только идти за мной или выслеживать меня... Пожалее!

В тот же миг за ней захлопнулась дверь.

Снова пауза. Снова молчание... Снова неумолчный шелест, словно от струящегося лунного света. И, наконец, опять его голос:

– Хлопнула дверь... но я стоял не двигаясь с места... Я был словно загипнотизирован ее приказом... я слышал, как она спускалась по лестнице, как закрылась входная дверь... я слышал все и всем существом рвался к ней... чтобы ее... я не знаю что... чтобы вернуть ее, или ударить, или задушить... но только бежать за ней... за ней... Но я не мог это сделать, не мог шевельнуться, словно меня парализовало электрическим током... я был поражен, поражен в самое сердце убийственной молнией ее взора... Я знаю, что этого не объяснить и не рассказать... Это может показаться смешным, но я все стоял и стоял... Прошло несколько минут, может быть, пять, может быть, десять, прежде чем я мог оторвать ногу от земли...

Но как только я сделал шаг, я уже весь горел и готов был бежать... Вмиг слетел я с лестницы... Она ведь могла пойти только к станции... Я бросаюсь в сарай за велосипедом, вижу, что забыл ключ, срываю засов, бамбук трещит и разлетается в щепы, и вот я уже на велосипеде и несусь ей вдогонку... я должен... я должен догнать ее, прежде чем она сядет в автомобиль... я должен поговорить с ней...

Я мчусь по пыльной улице... теперь только я вижу, как долго я простоял в оцепенении... Но вот... на повороте к лесу, перед самой станцией, я вижу ее, она идет торопливым твердым шагом в сопровождении боя... Но и она, очевидно, заметила меня, потому что говорит что-то бою, и тот останавливается, а она идет дальше одна... Что она задумала? Почему хочет быть одна? Может быть, она хочет поговорить со мной наедине, чтобы он не слышал?... Яростно нажимаю на педали... Вдруг что-то кидается мне наперерез на дорогу... ее бой... я едва успеваю рвануть велосипед в сторону и лечу на землю...

Поднимаюсь с бранью... невольно заносу кулак, чтобы дать болвану тумака, но он увертывается... Встряхиваю велосипед, собираюсь снова вскочить на него... Но подлец опять тут как тут, хватается за велосипед и говорит на ломаном английском языке: «You remain here»⁵.

Вы не жили в тропиках... Вы не знаете, какая это дерзость, когда туземец хватается за велосипед белого «господина» и ему, «господину», приказывает оставаться на месте. В ответ на это я бью его по лицу... он шатается, но все-таки не выпускает велосипеда... Его узкие глаза широко раскрыты и полны страха... но он держит руль, держит его дьявольски крепко... «You remain here», – бормочет он еще раз.

К счастью, при мне не было револьвера, а то я непременно пристрелил бы наглеца.

– Прочь, каналья! – прорычал я.

Он глядит на меня, весь съежившись, но не отпускает руль. Я снова бью его по голове, он все еще не отпускает. Тогда я прихожу в ярость... я вижу, что ее уже нет, может быть, она уже уехала... Я закатываю ему настоящий боксерский удар под подбородок, сшибающий его с ног... Теперь велосипед опять в моем распоряжении... Вскликаю в седло, но машина не идет... во время борьбы погнулась спица... Дрожащими руками я пытаюсь выпрямить ее... ничего не выходит... Тогда я швыряю велосипед на дорогу рядом с негодяем, тот встает весь в крови и отходит в сторону... И тогда – нет, вы не можете понять, какой это позор там, если европеец... но я уже не понимал, что делаю... у меня была только одна мысль: за ней, догнать

⁵ Вы останетесь здесь (англ.).

ее... и я побежал, побежал как сумасшедший по деревенской улице, мимо лачуг, где туземцы в изумлении теснились у дверей, чтобы посмотреть, как бежит белый человек, как бежит доктор.

Обливаясь потом, примчался я к станции... Мой первый вопрос был: «Где автомобиль?..» – «Только что уехал...» С удивлением смотрели на меня люди – я должен был показаться им сумасшедшим, когда прибежал весь в поту и грязи, еще издали выкрикивая свой вопрос... На дороге за станцией я вижу клубящийся вдали белый дымок автомобиля... Ей удалось уехать... удалось, как должны удаваться все ее твердые, жестокие намерения...

Но бегство ей не помогло... В тропиках нет тайн между европейцами... все знают друг друга, всякая мелочь вырастает в событие... Не напрасно простоял ее шофер целый час перед правительственным бунгало... через несколько минут я уже знаю все... Знаю, кто она... что живет она в... ну, в главном городе района, в восьми часах езды отсюда по железной дороге... что она... ну, скажем, жена крупного коммерсанта, страшно богата, из хорошей семьи, англичанка... Знаю, что ее муж пробыл пять месяцев в Америке и в ближайшие дни... должен приехать, чтобы увезти ее в Европу...

А она – и эта мысль, как яд, жжет меня, – она беременна не больше двух или трех месяцев...

– До сих пор я еще мог все объяснить вам... может быть, только потому, что до этой минуты сам еще понимал себя... сам, как врач, ставил диагноз своего состояния. Но тут мной словно овладела лихорадка... я потерял способность управлять своими поступками... то есть я ясно сознавал, как бессмысленно все, что я делаю, но я уже не имел власти над собой... я уже не понимал самого себя... я как одержимый бежал вперед, видя перед собой только одну цель... Впрочем, подождите... я все же постараюсь объяснить вам... Знаете вы, что такое «амок»?

– Амок?.. Что-то припоминаю... Это род опьянения... у малайцев...

– Это больше чем опьянение... это бешенство, напоминающее собачье... припадок бессмысленной, кровожадной мономании, которую нельзя сравнить ни с каким другим видом алкогольного отравления... Во время своего пребывания там я сам наблюдал несколько случаев – когда речь идет о других, мы всегда ведь очень рассудительны и деловиты! – но мне так и не удалось выяснить причину этой ужасной и загадочной болезни... Это, вероятно, как-то связано с климатом, с этой душной, насыщенной атмосферой, которая, как гроза, давит на нервную систему, пока наконец она не взрывается... О чем я говорил? Об амоке?.. Да, амок – вот как это бывает: какой-нибудь малаец, человек простой и добродушный, сидит и тянет свою настойку... сидит, отупевший, равнодушный, вялый... как я сидел у себя в комнате... и вдруг вскакивает, хватается нож, бросается на улицу... и бежит все вперед и вперед... сам не зная куда... Кто бы ни попался ему на дороге, человек или животное, он убивает его своим «крисом», и вид крови еще больше разжигает его... Пена выступает у него на губах, он воет, как дикий зверь... и бежит, бежит, бежит, не смотрит ни вправо, ни влево, бежит с истошными воплями, с окровавленным ножом в руке, по своему ужасному, неуклонному пути... Люди в деревнях знают, что нет силы, которая могла бы остановить гонимого амоком... они кричат, предупреждая других, при его приближении: «Амок! Амок!», и все обращается в бегство... а он мчится, не слыша, не видя, убивая встречных... пока его не пристрелят, как бешеную собаку, или он сам не рухнет на землю...

Я видел это раз из окна своего дома... это было страшное зрелище... но только потому, что я это видел, я понимаю самого себя в те дни... Точно так же, с тем же ужасным, неподвижным взором, с тем же исступлением ринулся я... вслед за этой женщиной... Я не помню, как я все это проделал, с такой чудовищной, безумной быстротой это произошло... Через десять минут, нет, что я говорю, через пять, через две... после того как я все узнал об этой женщине, ее имя, адрес, историю ее жизни, я уже мчался на одолженном мне велосипеде домой, швырнул в чемодан костюм, захватил денег и помчался на железнодорожную станцию... уехал, не предупредив окружного чиновника... не назначив себе заместителя, бросив дом и вещи на произвол

судьбы... Вокруг меня столпились слуги, изумленные женщины о чем-то спрашивали меня, но я не отвечал, даже не обернулся... помчался на железную дорогу и первым поездом уехал в город... Прошло не больше часа с того мгновения, как эта женщина вошла в мою комнату, а я уже поставил на карту всю свою будущность и мчался, гонимый амоком, сам не зная зачем...

Я мчался вперед очертя голову... В шесть часов вечера я приехал... в десять минут седьмого я был у нее в доме и велел доложить о себе... Это было... вы понимаете... самое бессмысленное, самое глупое, что я мог сделать... но у гонимого амоком незрячие глаза, он не видит, куда бежит... Через несколько минут слуга вернулся... сказал вежливо и холодно... госпожа плохо себя чувствует и не может меня принять...

Я вышел, шатаюсь... Целый час я бродил вокруг дома, в безумной надежде, что она пошлет за мной... лишь после этого я занял номер в Странд-отеле и потребовал себе в комнату две бутылки виски... Виски и двойная доза веронала помогли мне... я наконец уснул... и навалившийся на меня тяжелый, мутный сон был единственной передышкой в этой скачке между жизнью и смертью.

Прозвучал колокол – два твердых, полновесных удара, долго вибрировавших в мягком, почти неподвижном воздухе и постепенно угасших в тихом неумолчном журчании воды, которое неотступно сопровождало взволнованный рассказ человека, сидевшего во мраке против меня; мне показалось, что он вздрогнул, речь его оборвалась. Я опять услышал, как рука нащупывает бутылку, услышал тихое бульканье. Потом, видимо успокоившись, он заговорил более ровным голосом:

– То, что последовало за этим, я едва ли сумею вам описать. Теперь я думаю, что у меня была лихорадка, во всяком случае, я был в состоянии крайнего возбуждения, граничившего с безумием, – человек, гонимый амоком. Но не забудьте, что я приехал во вторник вечером, а в субботу, как я успел узнать, должен был прибыть пароходом из Йокогамы ее муж; следовательно, оставалось только три дня, три коротких дня, чтобы спасти ее. Поймите: я знал, что должен оказать ей немедленную помощь, и не мог говорить с ней. Именно эта потребность просить прощения за мое смешное, необузданное поведение и разжигала меня. Я знал, как драгоценно каждое мгновение, знал, что для нее это вопрос жизни и смерти, и все-таки не имел возможности шепнуть ей словечко, подать ей какой-нибудь знак, потому что именно мое неистовое и нелепое преследование испугало ее. Это было... да, постойте... как бывает, когда один бежит предостеречь другого, что его хотят убить, а тот принимает его самого за убийцу и бежит вперед, навстречу своей гибели... Она видела во мне только безумного, который преследует ее, чтобы унижить, а я... в этом и была вся ужасная бессмыслица... я больше и не думал об этом... я был вконец уничтожен, я хотел только помочь ей, услужить... Я пошел бы на преступление, на убийство, чтобы помочь ей... Но она, она этого не понимала. Утром, как только я проснулся, я сейчас же побежал опять к ее дому; у дверей стоял бой, тот самый бой, которого я ударил по лицу, и, заметив меня, – несомненно, он меня поджидал – проворно юркнул в дверь. Быть может, он это сделал только для того, чтобы предупредить о моем приходе... ах, эта неизвестность, как мучит она меня теперь!.. быть может, тогда все было уже подготовлено для моего приема... но в тот миг, когда я его увидел и вспомнил о своем позоре, у меня не хватило духу сделать еще одну попытку... У меня дрожали колени. Перед самым порогом я повернулся и ушел... ушел в ту минуту, когда она, может быть, ждала меня и мучилась не меньше моего.

Теперь я уже совсем не знал, что делать в этом чужом городе, где улицы, казалось, жгли мне подошвы... Вдруг у меня блеснула мысль; в тот же миг я окликнул экипаж, поехал к тому самому вице-резиденту, которому я оказал помощь, и велел доложить о себе... В моей внешности было, вероятно, что-то странное, потому что он посмотрел на меня как-то испуганно, и в его вежливости сквозило беспокойство... может быть, он тогда уже угадал во мне человека, гонимого амоком... Я решительно заявил ему, что прошу перевести меня в город, так как не

могу больше выдержать на моем посту... я должен переехать немедленно... Он взглянул на меня... не могу вам передать, как он на меня взглянул... ну, примерно так, как смотрит врач на больного...

– У вас не выдержали нервы, милый доктор, – сказал он, – я это прекрасно понимаю. Ну, это можно будет как-нибудь устроить, подождите только немного... Скажем, недели четыре... мне нужно сначала подыскать вам заместителя.

– Не могу ждать ни единого дня, – ответил я.

Он опять окинул меня странным взглядом.

– Нужно потерпеть, доктор, – серьезно сказал он, – мы не можем оставить пост без врача. Но обещаю вам, что сегодня же займусь этим.

Я стоял перед ним, стиснув зубы, в первый раз ясно ощущая, что я продавшийся человек, раб. Во мне уже закипало негодование, но он, со светской любезностью, опередил меня:

– Вы отвыкли от людей, доктор, а это тоже своего рода болезнь. Мы тут все удивлялись, почему вы никогда не приезжаете, никогда не берете отпуска. Вы нуждаетесь в обществе, в развлечениях. Приходите, по крайней мере, сегодня вечером, – сегодня прием у губернатора, там будет вся наша колония. Многие давно уже хотят познакомиться с вами, спрашивают о вас и высказывают пожелание, чтобы вы перебрались сюда.

Последние его слова поразили меня. Спрашивают обо мне? Не она ли? Я сразу словно переродился и, поблагодарив вице-резидента самым вежливым образом за приглашение, обещал быть точным. И я был точен, даже слишком точен. Нужно ли говорить, что, гонимый нетерпением, я первый явился в огромный зал правительственного здания; безмолвные желтокожие слуги сновали взад и вперед, мягко ступая босыми ногами, и, как мерещилось моему помраченному сознанию, посмеивались за моей спиной. В течение четверти часа я был единственным европейцем среди этой бесшумной толпы и настолько одинок, что слышал тиканье часов в своем жилетном кармане. Наконец пришли два-три чиновника со своими семьями, а затем появился и сам губернатор, вступивший со мною в продолжительную беседу; я внимательно слушал его и, как мне казалось, удачно отвечал, пока мной не овладело вдруг какое-то необъяснимое нервное беспокойство. Я потерял самообладание и стал отвечать невпопад. Я стоял спиной к входной двери зала, но сразу почувствовал, что вошла она, что она уже здесь. Я не мог бы объяснить вам, как возникла во мне эта смутившая меня уверенность, но, говоря с губернатором и прислушиваясь к его словам, я в то же время ощущал где-то за собой ее присутствие. К счастью, губернатор вскоре окончил разговор – мне кажется, если бы он не отпустил меня, я все равно, пренебрегая вежливостью, обернулся бы, так сильно было это странное напряжение моих нервов, так мучительна была эта потребность. И действительно, не успел я обернуться, как увидел ее на том самом месте, где мысленно представил себе ее. На ней было желтое бальное платье с низким вырезом, матово поблескивали, как слоновая кость, ее прекрасные узкие плечи; она разговаривала, окруженная группой гостей. Она улыбалась, но я уловил в ее лице какую-то напряженность. Я подошел ближе – она не видела или не хотела меня видеть – и взгляделся в эту улыбку, любезную и холодно-вежливую, игравшую на тонких губах. И эта улыбка снова опьянила меня, потому что она... потому что я знал, что это ложь, лицемерие, виртуозное уменье притворяться. Сегодня среда, мелькнуло у меня в голове, в субботу приходит пароход, на котором едет ее муж... Как может она так улыбаться, так... так уверенно, так беззаботно улыбаться и небрежно играть веером, вместо того чтобы комкать его от волнения? Я... я, чужой... я уже два дня дрожу в ожидании того часа... я, чужой, мучительно переживаю за нее ее страхи, ее отчаяние... а она явилась на бал и улыбается, улыбается...

Где-то позади заиграла музыка. Начались танцы. Пожилой офицер пригласил ее; она, извинившись перед своими собеседниками, прошла под руку с ним мимо меня в другой зал. Когда она заметила меня, внезапная судорога пробежала по ее лицу – но только на секунду,

потом она вежливо кивнула мне, как случайному знакомому, сказала «добрый вечер, доктор!» – и скрылась, прежде чем я успел решить, поклониться ей или нет.

Никто не мог бы разгадать, что тайлось во взгляде этих серо-зеленых глаз, и я, я сам этого не знал. Почему она поклонилась... почему вдруг узнала меня?.. Было ли это самозащитой, или шагом к примирению, или просто замешательством? Не могу вам выразить, в каком я был волнении, во мне все всколыхнулось и готово было вырваться наружу. Я смотрел на нее, спокойно вальсирующую в объятиях офицера, с невозмутимым и беспечным выражением лица, а я ведь знал, что она... что она, так же, как и я, думает только об одном... только об одном... что только нам двоим в этой толпе известна ужасная тайна... а она танцевала... В эти минуты мои муки, страстное желание спасти ее и восхищение достигли апогея. Не знаю, наблюдал ли кто-нибудь за мной, но, несомненно, я своим поведением мог выдать то, что так искусно скрывала она, – я не мог заставить себя смотреть в другую сторону, я должен был... да, должен был смотреть на нее, я пожирал ее глазами, издали впивался в ее невозмутимое лицо – не спадет ли маска хотя бы на миг. Она, должно быть, чувствовала на себе этот упорный взгляд, и он тяготил ее. Возвращаясь под руку со своим кавалером, она сверкнула на меня глазами повелительно, словно приказывая уйти. Уже знакомая мне складка высокомерного гнева снова прорезала ее лоб...

Но... но... я ведь уже говорил вам... меня гнал амок, я не смотрел ни вправо, ни влево. Я мгновенно понял ее – этот взгляд говорил: «Не привлекай внимания! возьми себя в руки!» Я знал, что она... как бы это выразить?.. что она требует от меня сдержанности здесь, в большом зале... я понимал, что, уйди я теперь домой, я мог бы завтра с уверенностью рассчитывать быть принятым ею... Она хотела только избавиться от моей назойливости здесь... я знал, что она – и с полным основанием – боится какой-нибудь моей неловкой выходки... Вы видите... я знал все, я понял этот повелительный взгляд, но... но это было свыше моих сил, я должен был говорить с нею. Итак, я поплелся к группе гостей, среди которых она стояла, разговаривая, и присоединился к ним, хотя знал лишь немногих из них... Я хотел слышать, как она говорит, но каждый раз съеживался, точно побитая собака, под ее взглядом, изредка так холодно скользившим по мне, словно я был холщовой портьерой, к которой я прислонился, или воздухом, который слегка эту портьеру колыхал. Но я стоял в ожидании слова от нее, какого-нибудь знака примирения, стоял столбом, не сводя с нее глаз, среди общего разговора. Безусловно, на это уже обратили внимание... безусловно... потому что никто не сказал мне ни слова; и она, наверно, страдала от моего нелепого поведения.

Сколько бы я так простоял, не знаю... может быть, целую вечность... я не мог разбить чары, сковывавшие мою волю... Я был словно парализован яростным своим упорством... Но она не выдержала... Со свойственной ей восхитительной непринужденностью она внезапно сказала, обращаясь к окружавшим ее мужчинам:

– Я немного утомлена... хочу сегодня пораньше лечь... Спокойной ночи!

И вот она уже прошла мимо меня, небрежно и холодно кивнув головой. Я успел еще заметить складку на ее лбу, а потом видел уже только спину, белую, гордую, обнаженную спину. Прошла минута, прежде чем я понял, что она уходит... что я больше не увижу ее, не смогу говорить с ней в этот вечер, в этот последний вечер, когда еще возможно спасение... и так я простоял целую минуту, окаменев на месте, пока не понял этого... а тогда... тогда...

Однако погодите... погодите... Так вы не поймете всей бессмысленности, всей глупости моего поступка... сначала я должен описать вам место действия... Это было в большом зале правительственного здания, в огромном зале, залитом светом и почти пустом... пары ушли танцевать, мужчины – играть в карты... только по углам беседовали небольшие кучки гостей... Итак, зал был пуст, малейшее движение бросалось в глаза под ярким светом люстр... и она неторопливой легкой походкой шла по этому просторному залу, изредка отвечая на поклоны... шла с тем великолепным, высокомерным, невозмутимым спокойствием, которое так восхи-

щало меня в ней... Я... я оставался на месте, как я вам уже говорил. Я был словно парализован, пока не понял, что она уходит... а когда я это понял, она была уже на другом конце зала у самого выхода. Тут... о, до сих пор мне стыдно вспоминать об этом!.. тут что-то вдруг толкнуло меня, и я побежал – вы слышите: я побежал... я не пошел, а побежал за ней, и стук моих каблучков громко отдавался от стен зала... Я слышал свои шаги, видел удивленные взгляды, обращенные на меня... я сгорал со стыда... я уже во время бега сознавал свое безумие... но я не мог... не мог остановиться... Я догнал ее у дверей... Она обернулась... ее глаза серой сталью вонзились в меня, ноздри задрожали от гнева... Я только открыл было рот... как она... вдруг громко рассмеялась... звонким, беззаботным, искренним смехом и сказала... громко, чтобы все слышали:

– Ах, доктор, только теперь вы вспомнили о рецепте для моего мальчика... уж эти ученые!..

Стоявшие вблизи добродушно засмеялись... Я понял, я был поражен – как мастерски спасла она положение!.. Порывшись в бумажнике, я второпях вырвал из блокнота чистый листок... она спокойно взяла его и... ушла... поблагодарив меня холодной улыбкой... В первую секунду я обрадовался... я видел, что она искусно загладила неловкость моего поступка, спасла положение... но тут же я понял, что для меня все потеряно, что эта женщина ненавидит меня за мою нелепую горячность... ненавидит больше смерти... понял, что могу сотни раз подходить к ее дверям, и она будет отгонять меня, как собаку.

Шатаясь, шел я по залу и чувствовал, что на меня смотрят... у меня был, вероятно, очень странный вид... Я пошел в буфет, выпил подряд две, три... четыре рюмки коньяку... Это спасло меня от обморока... нервы больше не выдерживали, они словно оборвались... Потом я выбрался через боковой выход, тайком, как злоумышленник... Ни за какие блага в мире не прошел бы я опять по тому залу, где стены еще хранили отзвук ее смеха... Я пошел... точно не знаю, куда я пошел... в какие-то кабаки... и напился, напился, как человек, который хочет все забыть... но... но мне не удалось одурманить себя... ее смех отдавался во мне, резкий и злобный... этого проклятого смеха я никак не мог заглушить... Потом я бродил по гавани... револьвер я оставил в отеле, а то непременно бы застрелился. Я больше ни о чем и не думал и с одной этой мыслью пошел домой... с мыслью о левом ящике комода, где лежал мой револьвер... с одной этой мыслью.

Если я тогда не застрелился... клянусь вам, это была не трусость... для меня было бы избавлением спустить уже взведенный холодный курок... Но, как бы объяснить это вам... я чувствовал, что на мне еще лежит долг... да, тот самый долг помощи, тот проклятый долг... Меня сводила с ума мысль, что я могу еще быть ей полезен, что я нужен ей. Было ведь уже утро четверга, а в субботу... я ведь говорил вам... в субботу должен был прийти пароход, и я знал, что эта женщина, эта надменная, гордая женщина не переживет своего унижения перед мужем и перед светом. О, как мучили меня мысли о безрассудно потерянном драгоценном времени, о моей безумной опрометчивости, сделавшей невозможной своевременную помощь... Часами, клянусь вам, часами ходил я взад и вперед по комнате и ломал голову, стараясь найти способ приблизиться к ней, исправить свою ошибку, помочь ей... Что она больше не допустит меня к себе, было для меня совершенно ясно... я всеми своими нервами ощущал еще ее смех и гневное вздрагивание ноздрей... Часами, часами метался я по своей тесной комнате... был уже день, время приближалось к полудню...

И вдруг меня толкнуло к столу... я выхватил пачку почтовой бумаги и начал писать ей... я все написал... я скулил, как побитый пес, я просил у нее прощения, называл себя сумасшедшим, преступником... умолял ее довериться мне... Я обещал исчезнуть в тот же час из города, из колонии, умереть, если бы она пожелала... лишь бы она простила мне, и поверила, и позволила помочь ей в этот последний, роковой час... Я исписал двадцать страниц... Вероятно, это было безумное, немислимое письмо, похожее на горячечный бред. Когда я поднялся из-за

стола, я был весь в поту... комната плыла перед глазами, я должен был выпить стакан воды... Я попытался перечитать письмо, но мне стало страшно первых же слов... дрожащими руками сложил я его и собирался уже сунуть в конверт... и вдруг меня осенило. Я нашел истинное, решающее слово. Еще раз схватил я перо и приписал на последнем листке: «Жду здесь, в Странд-отеле, вашего прощения. Если до семи часов не получу ответа, я застрелюсь!»

После этого я позвонил бою и велел ему отнести письмо. Наконец-то было сказано все!

Возле нас что-то зазвенело и покатилося – неосторожным движением он опрокинул бутылку. Я слышал, как его рука шарила по палубе и наконец схватила пустую бутылку; сильно размахнувшись, он бросил ее в море. Несколько минут он молчал, потом заговорил еще более лихорадочно, еще более возбужденно и торопливо.

– Я больше не верую ни во что... для меня нет ни неба, ни ада... а если и есть ад, то я его не боюсь – он не может быть ужаснее часов, которые я пережил в то утро, в тот день. Вообразите маленькую комнату, нагретую солнцем, все более накаляемую полуденным зноем... комнату, где только стол, стул и кровать... На этом столе – ничего, кроме часов и револьвера, а у стола – человек... не сводящий глаз с секундной стрелки... человек, который не ест, не пьет, не курит, не двигается, который все время... слышите, все время, три часа подряд смотрит на белый круг циферблата и на маленькую стрелку, с тиканьем бегущую по этому кругу... Так... так провел я этот день, только ждал, ждал... но так, как гонимый амоком делает все – бессмысленно, тупо, с безумным, прямолинейным упорством.

Не стану описывать вам эти часы... это не поддается описанию... я и сам ведь не понимаю теперь, как можно было это пережить, не... не сойдя с ума... И... в двадцать две минуты четвертого... я знаю точно, потому что смотрел ведь на часы... раздался внезапный стук в дверь... Я вскакиваю... вскакиваю, как тигр, бросающийся на добычу, одним прыжком я у двери, распахиваю ее... в коридоре маленький китайчонок робко протягивает мне записку. Я выхватываю сложенную бумажку у него из рук, и он сейчас же исчезает.

Разворачиваю записку, хочу прочесть... и не могу... перед глазами красные круги... Подумайте об этой муке... наконец, наконец я получил от нее ответ... а тут буквы прыгают и пляшут... Я окунаю голову в воду... становится лучше... Снова берусь за записку и читаю:

«Поздно! Но ждите дома. Может быть, я вас еще позову».

Подписи нет. Бумажка измятая, оторванная от какого-нибудь старого проспекта... слова нацарапаны карандашом, торопливо, кое-как, не обычным почерком... Я сам не знаю, почему эта записка так потрясла меня... Какой-то ужас, какая-то тайна была в этих строках, написанных словно во время бегства, где-нибудь на подоконнике или в экипаже... Каким-то неопи-суемым страхом и холодом повеяло на меня от этой тайной записки... и все-таки... и все-таки я был счастлив... она написала мне, я не должен был еще умирать, она позволяла мне помочь ей... может быть... я мог бы... о, я сразу исполнился самых несбыточных надежд и мечтаний... Сотни, тысячи раз перечитывал я клочок бумаги, целовал его... рассматривал, в поисках какого-нибудь забытого, незамеченного слова... Все смелее, все фантастичнее становились мои грезы, это был какой-то лихорадочный сон наяву... оцепенение, тупое и в то же время напряженное, между дремотой и бодрствованием, длившееся не то четверть часа, не то целые часы...

Вдруг я встрепенулся... Как будто постучали? Я затаил дыхание... минута, две минуты мертвой тишины... А потом опять тихий, словно мышинный шорох, тихий, но настойчивый стук... Я вскочил – голова у меня кружилась, – рванул дверь, за ней стоял бой, ее бой, тот самый, которого я тогда побил... Его смуглое лицо было пепельного цвета, тревожный взгляд говорил о несчастье. Мной овладел ужас...

– Что... что случилось? – с трудом выговорил я.

– Come quickly⁶, – ответил он... и больше ничего...

Я бросился вниз по лестнице, он за мной... Внизу стояла «садо», маленькая коляска, мы сели...

– Что случилось? – еще раз спросил я...

Он молча взглянул на меня, весь дрожа, стиснув зубы... Я повторил свой вопрос, но он все молчал и молчал... Я охотно еще раз ударил бы его, но... меня трогала его собачья преданность ей... и я не стал больше спрашивать... Колясочка так быстро мчалась по оживленным улицам, что прохожие с бранью отскакивали в сторону. Мы оставили за собой европейский квартал, берегом проехали в нижний город и врезались в шумливую сутолоку китайского квартала... Наконец мы свернули в узкую улочку, где-то на отлете... остановились перед низкой лачугой... Домишко был грязный, вросший в землю, со стороны улицы – лавчонка, освещенная сальной свечой... одна из тех лавчонок, за которыми прячутся курильни опиума и публичные дома, воровские притоны и склады краденых вещей... Бой поспешно постучался... Дверь приотворилась, из щели послышался сиплый голос... он спрашивал и спрашивал... Я не выдержал, выскочил из экипажа, толкнул дверь... Старуха китайка, испуганно вскрикнув, убежала... Бой вошел вслед за мной, провел меня узким коридором... открыл другую дверь... в темную комнату, где стоял запах водки и свернувшейся крови... Оттуда слышались стоны... Я ощупью стал пробираться вперед...

Снова голос пресекся. Потом заговорил – но это была уже не речь, а почти рыдание.

– Я... я нащупывал дорогу... и там... там, на грязной циновке... корчась от боли... лежало человеческое существо... лежала она...

Я не видел ее лица... Мои глаза еще не привыкли к темноте... ощупью я нашел ее руку... горячую... как огонь. У нее был жар, сильный жар... и я содрогнулся... я сразу понял все... Она бежала сюда от меня... дала искалечить себя... первой попавшейся грязной старухе... только потому, что боялась огласки... дала какой-то ведьме убить себя, лишь бы не довериться мне... Только потому, что я, безумец... не пощадил ее гордости, не помог ей сразу... потому что смерти она боялась меньше, чем меня...

Я крикнул, чтобы дали свет... Бой вскочил, старуха дрожащими руками внесла коптившую керосиновую лампу. Я едва удержался, чтобы не схватить старую каргу за горло... Она поставила лампу на стол... желтый свет упал на истерзанное тело... И вдруг... вдруг с меня точно рукой сняло всю мою одурь и злобу, всю эту нечистую накипь страстей... теперь я был только врач, помогающий, исследующий, вооруженный знаниями человек... Я забыл о себе... мое сознание прояснилось, и я вступил в борьбу с надвигающимся ужасом... Нагое тело, о котором я грезил с такою страстью, я ощущал теперь только как... ну, как бы это сказать... как материю, как организм... я не чувствовал, что это она, я видел только жизнь, борющуюся со смертью, человека, корчившегося в убийственных муках... Ее кровь, ее горячая священная кровь текла по моим рукам, но я не испытывал ни волнения, ни ужаса... я был только врач... я видел только страдание и видел... и видел, что все погибло, что только чудо может спасти ее... Она была изувечена неумелой, преступной рукой и истекала кровью... а у меня в этом гнусном вертепе не было ничего, чтобы остановить кровь... не было даже чистой воды... Все, до чего я дотрагивался, было покрыто грязью...

– Нужно сейчас же в больницу, – сказал я. Но не успел я это произнести, как больная судорожным усилием приподнялась.

– Нет... нет... лучше смерть... чтобы никто не узнал... никто не узнал... Домой... домой!..

Я понял... только за свою тайну, за свою честь боролась она... не за жизнь... И я повиновался. Бой принес носилки... мы уложили ее... обессиленную, в лихорадке... и словно труп

⁶ Идите скорее (англ.).

понесли сквозь ночную тьму домой. Отстранили недоумевающих, испуганных слуг... как воры проникли в ее комнату... заперли двери. А потом... потом началась борьба, долгая борьба со смертью...

Внезапно в мое плечо судорожно впилась рука, и я чуть не вскрикнул от испуга и боли. Его лицо вдруг приблизилось к моему, и я увидел белые оскаленные зубы и стекла очков, мерцавшие в отблеске лунного света, точно два огромных кошачьих глаза. И он уже не говорил – он кричал в пароксизме гнева:

– Знаете ли вы, вы, чужой человек, спокойно сидящий здесь в удобном кресле, совершающий прогулку по свету, знаете ли вы, что это значит, когда умирает человек? Бывали вы когда-нибудь при этом, видели вы, как корчится тело, как посиневшие ногти впиваются в пустоту, как хрипит гортань, как каждый член борется, каждый палец упирается в борьбе с неумолимым призраком, как глаза вылезают из орбит от ужаса, которого не передать словами? Случалось вам переживать это, вам, праздному человеку, туристу, вам, рассуждающему о долге оказывать помощь? Я часто видел все это, наблюдал как врач... Это были для меня клинические случаи, некая данность... я, так сказать, изучал это – но пережил только один раз... Я вместе с умирающей переживал это и умирал вместе с нею в ту ночь... в ту ужасную ночь, когда я сидел у ее постели и терзал свой мозг, пытаюсь найти что-нибудь, придумать, изобрести против крови, которая все лилась и лилась, против лихорадки, сжигавшей эту женщину на моих глазах... против смерти, которая подходила все ближе и которую я не мог отогнать. Понимаете ли вы, что это значит – быть врачом, знать все обо всех болезнях, чувствовать на себе долг помочь, как вы столь основательно заметили, и все-таки сидеть без всякой пользы возле умирающей, знать и быть бессильным... знать только одно, только ужасную истину, что помочь нельзя... нельзя, хотя бы даже вскрыв себе все вены... Видеть беспомощно истекающее кровью любимое тело, терзаемое болью, считать пульс, учащенный и прерывистый... затухающий у тебя под пальцами... быть врачом и не знать ничего, ничего – только сидеть и то бормотать молитву, как дряхлая старушонка, то грозить кулаком жалкому Богу, о котором ведь знаешь, что Его нет. Понимаете вы это? Понимаете?.. Я... я только... одного не понимаю, как... как можно не умереть в такие минуты... как можно, проспав, проснуться на другое утро и чистить зубы, завязывать галстук... как можно жить после того, что я пережил... чувствуя, что это живое дыхание, что этот первый и единственный человек, за которого я так боролся, которого хотел удержать всеми силами моей души, ускользает от меня куда-то в неведомое, ускользает все быстрее с каждой минутой и я ничего не нахожу в своем воспаленном мозгу, что могло бы удержать этого человека...

И к тому же еще, чтобы удвоить мои муки, еще вот это... Когда я сидел у ее постели – я дал ей морфий, чтобы успокоить боли, и смотрел, как она лежит с пылающими щеками, горячая и истомленная, – да... когда я так сидел, я все время чувствовал за собой глаза, устремленные на меня с неистовым напряжением... Это бой сидел там на корточках, на полу, и шептал какие-то молитвы... Когда наши взгляды встречались, я читал в его глазах... нет, я не могу вам описать... читал такую мольбу, такую благодарность, и в эти минуты он протягивал ко мне руки, словно заклинал меня спасти ее... вы понимаете – ко мне, ко мне простирал руки, как к Богу... ко мне... а я знал, что я бессилен, знал, что все потеряно и что я здесь так же нужен, как ползающий по полу муравей... Ах, этот взгляд, как он меня мучил... эта фанатическая, слепая вера в мое искусство... Мне хотелось крикнуть на него, ударить его ногой, такую боль причинял он мне... и все же я чувствовал, что мы оба связаны нашей любовью к ней... и тайной... Как притаившийся зверь сидел он, сжавшись клубком, за моей спиной... Стоило мне сказать слово, как он вскакивал и, бесшумно ступая босыми ногами, приносил требуемое и, дрожа, исполненный ожидания, подавал мне просимую вещь, словно в этом была помощь... спасение... Я знаю, он вскрыл бы себе вены, чтобы ей помочь... такова была эта женщина,

такую власть имела она над людьми, а я... у меня не было власти спасти каплю ее крови... О, эта ночь, эта ужасная, бесконечная ночь между жизнью и смертью!

К утру она еще раз очнулась... открыла глаза... теперь в них не было ни высокомерия, ни холодности... они горели влажным, лихорадочным блеском, и она с недоумением оглядывала комнату. Потом она посмотрела на меня; казалось, она задумалась, стараясь вспомнить что-то, вглядываясь в мое лицо... и вдруг... я увидел... она вспомнила... Какой-то испуг, негодование, что-то... что-то... враждебное, гневное исказило ее черты... она начала двигать руками, словно хотела бежать... прочь, прочь от меня... Я видел, что она думает о том... о том часе, когда я... Но потом к ней вернулось сознание... она спокойно взглянула на меня, но дышала тяжело... Я чувствовал, что она хочет говорить, что-то сказать... опять ее руки пришли в движение... она хотела приподняться, но была слишком слаба... Я стал ее успокаивать, наклонился над ней... тут она посмотрела на меня долгим, полным страдания взглядом... ее губы тихо шевельнулись... это был последний угасающий звук... Она сказала:

– Никто не узнает?.. Никто?

– Никто, – сказал я со всей силой убеждения, – обещаю вам.

Но в глазах ее все еще было беспокойство... Невнятно, с усилием она пролепетала:

– Поклянитесь мне... никто не узнает... поклянитесь!

Я поднял руку, как для присяги. Она смотрела на меня неизъяснимым взглядом... нежным, теплым, благодарным... да, поистине, поистине благодарным... она хотела еще что-то сказать, но ей было слишком трудно... Долго лежала она, обессиленная, с закрытыми глазами. Потом начался ужас... ужас... еще долгий, мучительный час боролась она. Только к утру настал конец...

Он долго молчал. Я заметил это только тогда, когда в тишине раздался колокол – один, два, три сильных удара – три часа. Лунный свет потускнел, но в воздухе уже дрожала какая-то новая желтизна, и изредка налетал легкий ветерок. Еще полчаса, час, и настанет день, и весь этот кошмар исчезнет в его ярком свете. Теперь я яснее видел черты рассказчика, так как тени были уже не так густы и черны в нашем углу. Он снял шапочку, и я увидел его голый череп и измученное лицо, показавшееся мне еще более страшным. Но вот сверкающие стекла его очков опять устали на меня, он выпрямился, и в его голосе зазвучали резкие, язвительные нотки.

– Для нее настал конец – но не для меня. Я был наедине с трупом – один в чужом доме, один в городе, не терпевшем тайн, а я... я должен был оберегать тайну... Да, вообразите себе мое положение: женщина из высшего общества колонии, совершенно здоровая, танцевавшая накануне на балу у губернатора, лежит мертвая в своей постели... При ней находится чужой врач, которого будто бы позвал ее слуга... никто в доме не видел, когда и откуда он пришел... Ночью внесли ее на носилках и потом заперли дверь... а утром она уже мертва... Тогда лишь зовут слуг, и весь дом вдруг оглашается воплями... В тот же миг об этом узнают соседи, весь город... и только один человек может все это объяснить... это я, чужой человек, врач с отдаленного поста... Приятное положение, не правда ли?

Я знал, что мне предстояло. К счастью, подле меня был бой, надежный слуга, который читал малейшее желание в моих глазах; даже этот полудикарь понимал, что борьба здесь еще не кончена. Мне достаточно было сказать ему: «Госпожа желает, чтобы никто не узнал, что произошло». Он посмотрел мне в глаза влажным, преданным, но в то же время решительным взглядом: «Yes, sir»⁷. Больше он ничего не сказал. Но он вытер с пола следы крови, привел все в полный порядок – и эта решительность, с какой он действовал, вернула самообладание и мне. Никогда в жизни не проявлял я подобной энергии и уж, конечно, никогда больше не проявлю. Когда человек потерял все, то за последнее он борется с остервенением – и этим последним было ее завещание, ее тайна. Я с полным спокойствием принимал людей, рассказывал им всем

⁷ Да, сэръ (англ.).

одну и ту же басню о том, как посланный за врачом бой случайно встретил меня по дороге. Но в то время как я с притворным спокойствием рассказывал все это, я ждал... ждал решительной минуты... ждал освидетельствования тела, без чего нельзя было заключить в гроб ее – и вместе с ней ее тайну... Не забудьте, был уже четверг, а в субботу должен был приехать ее муж...

В девять часов мне наконец доложили о приходе городского врача. Я посылал за ним – он был мой начальник и в то же время соперник, – тот самый врач, о котором она так презрительно отзывалась и которому, очевидно, была уже известна моя просьба о переводе. Я почувствовал это, как только он взглянул на меня, – он был моим врагом. Но именно это и придало мне силы.

Уже в передней он спросил:

– Когда умерла госпожа?... – он назвал ее имя.

– В шесть часов утра.

– Когда она послала за вами?

– В одиннадцать вечера.

– Вы знали, что я ее врач?..

– Да, но медлить было нельзя... и потом... покойная пожелала, чтобы пришел именно я.

Она запретила звать другого врача.

Он уставился на меня; краска появилась на его бледном, несколько оплывшем лице, – я чувствовал, что его самолюбие уязвлено. Но мне только это и нужно было – я всеми силами стремился к быстрой развязке, зная, что долго мои нервы не выдержат. Он хотел ответить какой-то колкостью, но раздумал и с небрежным видом сказал:

– Ну что же, если вы считаете, что можете обойтись без меня... но все-таки мой служебный долг – удостовериться смерть и... от чего она наступила.

Я ничего не ответил и пропустил его вперед. Затем вернулся к двери, запер ее и положил ключ на стол. Он удивленно поднял брови:

– Что это значит?

Я спокойно стал против него.

– Речь идет не о том, чтобы установить причину смерти, а о том, чтобы скрыть ее. Эта женщина обратилась ко мне после... после неудачного вмешательства... Я уже не мог ее спасти, но обещал ей спасти ее честь и исполню это. И я прошу вас помочь мне.

Он широко раскрыл глаза от изумления.

– Вы предлагаете мне, – проговорил он с запинкой, – мне, должностному лицу, покрыть преступление?

– Да, предлагаю, я должен это сделать.

– Чтобы я за ваше преступление...

– Я уже сказал вам, что я и не прикасался к этой женщине, а то... а то я не стоял бы перед вами и давно бы уже покончил с собой. Она искупила свое прегрешение – если угодно, назовем это так, – и мир ничего не должен об этом знать. И я не потерплю, чтобы честь этой женщины была запятнана.

Мой решительный тон вызвал в нем еще большее раздражение.

– Вы не потерпите! Так... Ну, вы ведь мой начальник... или, по крайней мере, собираетесь стать им... Попробуйте только приказывать мне!.. Я сразу подумал, что тут какая-то грязная история, раз вас вызывают из вашего угла... Недурной практикой вы тут занялись... недурной образец для начала... Но теперь я приступлю к осмотру, я сам, и вы можете быть уверены, что свидетельство, под которым я поставлю свое имя, будет соответствовать истине. Я не подпишусь под ложью.

Я спокойно ответил ему:

– На этот раз вам придется все-таки это сделать. Иначе вы не выйдете из этой комнаты.

При этом я сунул руку в карман – револьвера при мне не было. Но он вздрогнул. Я на шаг приблизился к нему и в упор посмотрел на него.

– Послушайте, что я вам скажу... чтобы избежать крайностей. Моя жизнь не имеет для меня никакой цены... чужая – тоже... я дошел уже до такого предела... Единственное, чего я хочу, это выполнить свое обещание и сохранить в тайне причину этой смерти... Слушайте: даю вам честное слово – если вы подпишете свидетельство, что смерть вызвана... какой-нибудь случайностью, то я через несколько дней покину город, страну... и, если вы этого потребуете, застрелюсь, как только гроб будет опущен в землю и я буду уверен в том, что никто... вы понимаете – никто не сможет расследовать дело. Это, я надеюсь, вас удовлетворит.

В моем голосе было, вероятно, что-то угрожающее, какая-то опасность, потому что, когда я невольно сделал шаг к нему, он отскочил с тем же выражением ужаса, с каким... ну, с каким люди спасаются от гонимого амоком, когда он мчится, размахивая крисом... И он сразу стал другим... каким-то пришибленным и робким, от его уверенного тона не осталось и следа. В виде слабого протеста он пробормотал еще:

– Не было случая в моей жизни, чтобы я подписал ложное свидетельство... но так или иначе что-нибудь придумаем... мало ли что бывает... Однако не мог же я так, сразу...

– Конечно, не могли, – поспешил я поддакнуть ему. («Только скорее!.. только скорее!...» – стучало у меня в висках.) – Но теперь, когда вы знаете, что вы только причинили бы боль живому и жестоко поступили бы с умершей, вы, конечно, не станете колебаться.

Он кивнул. Мы подошли к столу. Через несколько минут удостоверение было готово (оно было опубликовано затем в газетах и вполне правдоподобно описывало картину паралича сердца). После этого он встал и посмотрел на меня:

– Вы уедете на этой же неделе, не правда ли?

– Даю вам честное слово.

Он снова посмотрел на меня. Я заметил, что он хочет казаться строгим и деловитым.

– Я сейчас же закажу гроб, – сказал он, чтобы скрыть свое смущение. Но что-то, видимо, было во мне, какое-то безмерное страдание, – он вдруг протянул мне руку и с неожиданной сердечностью потряс мою. – Желаю вам справиться с этим, – сказал он.

Я не понял, что он имеет в виду. Был ли я болен? Или... сошел с ума? Я проводил его до двери, отпер и, сделав над собой последнее усилие, запер за ним. Потом опять у меня застучало в висках, все закачалось и завертелось передо мной, и у самой ее постели я рухнул на пол... как... как падает в изнеможении гонимый амоком в конце своего безумного бега.

Он опять умолк. Меня знобило – оттого ли, что первый порыв утреннего ветра легкой волной пробежал по кораблю? Но на измученном лице, которое я уже ясно различал во мгле рассвета, снова отразилось усилие воли, и он заговорил опять:

– Не знаю, долго ли пролежал я так на циновке. Вдруг кто-то тронул меня за плечо. Я вздрогнул. Это был бой, с робким и почтительным видом стоявший передо мной и тревожно заглядывавший мне в глаза.

– Сюда хотят войти... хотят видеть ее...

– Не впускать никого!

– Да... но...

В его глазах был испуг. Он хотел что-то сказать и не решался. Его явно что-то мучило.

– Кто это?

Он, дрожа, посмотрел на меня, словно ожидая удара. Потом сказал – он не назвал имени... откуда берется вдруг в таком первобытном существе столько понимания? Почему в иные мгновения необыкновенную чуткость проявляют совсем темные люди?.. Бой сказал... тихо и боязливо:

– Это он.

Я вскочил... я сразу понял, и меня охватило жгучее, нетерпеливое желание увидеть этого незнакомца. Дело в том, видите ли, что как это ни странно... но среди всей этой муки, среди этих лихорадочных волнений, страхов и сумятицы я совершенно забыл о нем... Забыл, что

здесь замешан еще один человек – тот, которого любила эта женщина, кому она в пылу страсти отдала то, в чем отказала мне... Двенадцатью часами, сутками раньше я ненавидел бы этого человека, мог бы разорвать его на куски... Но теперь... Я не могу, не могу передать вам, как я жаждал увидеть его... полюбить за то, что она его любила.

Одним прыжком я очутился у двери. Передо мной стоял юный, совсем юный офицер, светловолосый, очень смущенный, очень бледный. Он казался почти ребенком, так... так трогательно молод он был, и невыразимо потрясло меня, как он старался быть мужчиной, показать выдержку... скрыть свое волнение. Я сразу заметил, что у него дрожит рука, когда он поднес ее к фуражке... Мне хотелось обнять его... потому что он был именно таким, каким я хотел видеть человека, обладавшего этой женщиной... не соблазнитель, не гордец... Нет, полурбенку, чистому, нежному созданию подарила она себя.

В крайнем смущении стоял передо мною молодой человек. Мой жадный взор и порывистые движения еще более смутили его. Усики над его губой предательски вздрагивали... этот юный офицер, этот мальчик едва удерживался, чтобы не расплакаться.

– Простите, – сказал он наконец, – я хотел бы еще раз... увидеть... госпожу...

Невольно, сам того не замечая, я обнял его, чужого человека, за плечи и повел, как ведут больного. Он посмотрел на меня изумленным и бесконечно благодарным взглядом... уже в этот миг между нами вспыхнуло сознание какой-то общности. Я подвел его к мертвой... Она лежала, белая на белых простынях... Я почувствовал, что мое присутствие все еще стесняет его, поэтому я отошел в сторону, чтобы оставить его наедине с ней. Он медленно приблизился к постели неверными шагами, волоча ноги... по тому, как дергались его плечи, я видел, какая боль разрывает ему сердце... он шел... как человек, идущий навстречу чудовищной буре... И вдруг упал на колени перед постелью... так же, как раньше упал я.

Я подскочил к нему, поднял его и усадил в кресло. Он больше не стыдился и заплакал навзрыд. Я не мог произнести ни слова и только бессознательно проводил рукой по его светлым, мягким, как у ребенка, волосам. Он схватил меня за руку... с каким-то страхом... и вдруг я почувствовал на себе его пристальный взгляд.

– Скажите мне правду, доктор, – проговорил он, – она наложила на себя руки?

– Нет, – ответил я.

– А... кто-нибудь... кто-нибудь... виноват в ее смерти?

– Нет, – повторил я, хотя у меня уже готов был вырваться крик: «Я! Я! Я!.. И ты! Мы оба! И ее упрямство, ее злосчастное упрямство!» Но я удержался и повторил еще раз: – Нет... никто не виноват... Судьба!

– Просто не верится, – простонал он, – не верится. Позавчера только она была на балу, улыбалась, кивнула мне. Как это мыслимо, как это могло случиться?

Я начал плести длинную историю. Даже ему не выдал я тайны покойной. Все эти дни мы были как два брата, словно озаренные связывавшим нас чувством... Мы не поверяли его друг другу, но оба знали, что вся наша жизнь принадлежала этой женщине... Иногда запретное слово готово было сорваться с моих уст, но я стискивал зубы – и он не узнал, что она носила под сердцем ребенка от него... что она хотела, чтобы я убил этого ребенка, его ребенка... и что она увлекла его с собой в пропасть. И все же мы говорили только о ней в эти дни, пока я скрывался у него... потому что – я забыл вам сказать – меня разыскивали... Ее муж приехал, когда гроб был уже закрыт... он не хотел верить официальной версии... ходили темные слухи... и он искал меня... Но я не мог решиться на встречу с ним... увидеть его, человека, заставлявшего, как я знал, ее страдать... Я прятался... четыре дня не выходил из дому, четыре дня мы оба не покидали квартиры... Ее возлюбленный купил для меня под чужим именем место на пароходе, чтобы я мог бежать... словно вор, прокрался я ночью на палубу, чтобы никто меня не узнал...

Я бросил там все, что имел... свой дом и работу, на которую потратил семь лет жизни. Все мое добро брошено на произвол судьбы, а начальство, вероятно, уже уволило меня со

службы, так как я без разрешения оставил свой пост... Но я больше не мог жить в этом доме, в этом городе... в этом мире, где все напоминало мне о ней... Как вор, бежал я ночью, только чтобы уйти от нее... забыть...

Но... когда я взошел на борт... ночью... в полночь... мой друг был со мной... тогда... тогда... как раз поднимали что-то краном... что-то продолговатое, черное... это был ее гроб... вы слышите: ее гроб!.. Она преследовала меня, как раньше я преследовал ее... и я должен был стоять тут же, с безучастным видом, потому что он, ее муж, тоже был тут... он везет тело в Англию... может быть, он хочет произвести там вскрытие... Он овладел ею... теперь она опять принадлежит ему... уже не нам... нам обоим... Но я еще здесь... Я пойду за ней до конца... он не узнает, он не должен узнать... я сумею защитить ее тайну от любого посягательства... от этого негодая, из-за которого она пошла на смерть... Ничего, ничего ему не узнать... ее тайна принадлежит мне, только мне одному...

Понимаете вы теперь... понимаете... почему я не могу видеть людей... не выношу их смеха... когда они флиртуют и жаждут сближения?.. Потому что там, внизу... внизу, в трюме, между тюками с чаем и кокосовыми орехами, стоит ее гроб... Я не могу пробраться туда, там заперто... но я сознаю, ощущаю это всем своим существом, ощущаю каждую секунду... и тогда, когда здесь играют вальсы или танго... Это ведь глупо, на дне моря лежат миллионы мертвецов; под любой пядью земли, на которую мы ступаем ногой, гниет труп, и все-таки я не могу, не могу вынести, когда устраивают здесь маскарады и так плотоядно смеются. Я чувствую, что она здесь, и знаю, чего она от меня хочет... я знаю, на мне еще лежит долг... еще не конец... ее тайна еще не погребена... Покойная еще не отпустила меня...

На средней палубе зашаркали шаги, зашлепали мокрые швабры – матросы начинали уборку. Он вздрогнул, как человек, застигнутый на месте преступления; на его бескровном лице отразился испуг. Он встал и пробормотал:

– Пойду... пойду уж.

Тяжело было смотреть на него – страшен был пустой взгляд его опухших глаз, красных от виски или от слез. Его стесняло мое участие; я ощущал во всей его сгорбленной фигуре стыд, мучительный стыд за откровенность со мной в эту долгую ночь. Невольно я сказал:

– Вы позволите мне зайти днем к вам в каюту?

Он посмотрел на меня, – жесткая усмешка искривила его губы, с какой-то злобой выдавливал он из себя каждое слово:

– А-а... ваш пресловутый долг... помогать... этим самым словцом вы и подбили меня на болтовню. Ну нет, сударь, спасибо! Пожалуйста, не воображайте, что мне теперь легче, после того как я перед вами вывернул наружу все свои внутренности, вплоть до кишок. Жизнь свою я исковеркал, и никто мне ее не починит. Вышло так, что я даром потрудился для почтенного голландского правительства... Пенсия – тью-тью, бездомным псом возвращаюсь я в Европу... псом, с воем плетущимся за гробом... Безнаказанно не бегут в бреду амока: рано или поздно меня подкосит, и я надеюсь, что конец уж близок... Нет, спасибо, сударь, за любезное желание меня посетить... Я уже завел себе приятелей в своей каюте... две-три бутылки доброго старого виски... они меня иногда утешают, а затем – мой старинный друг, к которому я, к сожалению, своевременно не обратился, – мой славный браунинг... он-то уж поможет лучше всякой болтовни... Прошу вас, не утруждайте себя... у человека всегда остается его единственное право – околоть, как ему вздумается... и без непрошеной помощи.

Он еще раз насмешливо, даже вызывающе посмотрел на меня, но я чувствовал – в нем говорил только стыд, бесконечный стыд. Потом он втянул голову в плечи, повернулся и, не прощаясь, пошел кривой и шаркающей походкой по уже светлой палубе к каютам. Больше я его не видал. Напрасно искал я его в ближайшие две ночи на обычном месте. Он исчез, и я мог бы предположить, что все это был сон или галлюцинация, если бы мое внимание не было привлечено одним пассажиром с траурной повязкой на рукаве. Это был крупный голландский

коммерсант, и мне рассказали, что он только что потерял жену, скончавшуюся от какой-то тропической болезни. Я видел, как он шагал взад и вперед по палубе в стороне от других, видел замкнутое, скорбное выражение его лица, и мысль о том, что я знаю его сокровенные думы, смущала меня; я всегда сворачивал с дороги, когда встречался с ним, боясь даже взглядом выдать, что знаю о его судьбе больше, чем он сам.

В порту Неаполя произошел потом тот загадочный несчастный случай, объяснение которого нужно, мне кажется, искать в рассказе незнакомца. Большинство пассажиров вечером съехало на берег – я сам отправился в оперу, а оттуда в кафе на Виа Рома. Когда мы в шлюпке возвращались на пароход, мне бросилось в глаза, что несколько лодок с факелами и ацетиленовыми фонарями кружили и искали что-то вокруг корабля, а наверху в темноте расхаживали по палубе карабинеры и жандармы. Я спросил у одного из матросов, что случилось. Он уклонился от ответа, и было ясно, что команде приказано молчать. На следующий день, когда пароход мирно и без всяких происшествий шел дальше, в Геную, на борту по-прежнему ничего нельзя было узнать, и лишь в итальянских газетах я потом прочел романтически разукрашенное сообщение о том, что случилось в Неаполе. В ту ночь, писали газеты, в поздний час, чтобы не обеспокоить печальным зрелищем пассажиров, с борта парохода спускали в лодку гроб с останками знатной дамы из голландских колоний. Матросы, в присутствии мужа, сходили по веревочной лестнице, а муж покойной помогал им. В этот миг что-то тяжелое рухнуло с верхней палубы и увлекло за собой в воду и гроб, и мужа, и матросов. Одна из газет утверждала, что это был какой-то сумасшедший, бросившийся сверху на веревочную лестницу. По другой версии, лестница оборвалась сама от чрезмерной тяжести. Как бы то ни было, пароходная компания приняла, очевидно, все меры, чтобы скрыть истину. С большим трудом спасли матросов и мужа покойной, но свинцовый гроб тотчас же пошел ко дну и его не удалось найти. Появившаяся одновременно короткая заметка о том, что в порту прибило к берегу труп неизвестного сорокалетнего мужчины, не привлекла к себе внимания публики, так как, по-видимому, вовсе не стояла в связи с романтически описанным происшествием; но передо мною, как только я прочел эти беглые строки, еще раз призрачно выступило из-за газетного листа иссиня-бледное лицо со сверкающими стеклами очков.

Двадцать четыре часа из жизни женщины

За десять лет до войны я отдыхал на Ривьере, в маленьком пансионе, и вот однажды за столом вспыхнул жаркий спор, грозивший кончиться настоящей ссорой со злыми выпадами и даже оскорблениями. Большинство людей не отличается богатым воображением. То, что происходит где-то далеко, не задевает их чувств, едва их трогает; но стоит даже ничтожному происшествию произойти у них на глазах, ощутимо близко, как разгораются страсти. В таких случаях люди как бы возмещают обычное свое равнодушие необузданной и излишней горячностью.

Так было и в нашей добропорядочной компании: за обедом мы вели *small talk*⁸, мирно перекидывались легкими шутками и, встав из-за стола, тотчас расходились в разные стороны: немецкая чета отправлялась с фотоаппаратом на прогулку, добродушный датчанин – к своим скучным удочкам, английская леди – к своим книгам, супруги-итальянцы спешили в Монте-Карло, а я бездельничал, развалившись в плетеном кресле, или садился за работу. Но на этот раз мы сцепились в бурной перепалке, и если кто-нибудь внезапно вскакивал, то не для того, чтобы вежливо откланяться, а в пылу спора, который, как я уже сказал, принял под конец самый ожесточенный характер.

Событие, так взбудоражившее наш маленький застольный кружок, действительно было из ряда вон выходящим. Пансион, где жили мы семеро, производил впечатление частной виллы, и какой чудесный вид открывался из наших окон на прибрежные скалы! На самом же деле он был только частью большой гостиницы «Палас-отель» и соединялся с ней садом, так что мы, хотя и жили особняком, находились в постоянном общении с обитателями отеля. Так вот в этом отеле накануне разыгрался крупный скандал. С дневным поездом в двенадцать двадцать (необходимо точно указать время, ибо оно важно для происшествия и играло роль в нашем жарком споре) прибыл молодой француз и занял комнату с видом на море; уже одно это говорило о том, что он человек со средствами. Он обратил на себя внимание не только своей элегантностью, но прежде всего необычайно привлекательной внешностью: удлиненное женственное лицо, шелковистые светлые усы над чувственными губами, мягкие, волнистые каштановые волосы с кудрявой прядью, падавшей на белый лоб, бархатные глаза – все в нем было красиво какой-то мягкой, вкрадчивой красотой. Держался он предупредительно и любезно, но без всякой нарочитости и жеманства. Если он и напоминал на первый взгляд те раскрашенные восковые манекены, которые, с щегольской тростью в руке, гордо красуются в витринах модных магазинов как воплощенный идеал мужской красоты, то вблизи впечатление фатоватости рассеивалось, потому что его неизменно приветливая любезность (редчайший случай!) была естественной и казалась врожденной. Скромно и вместе с тем сердечно приветствовал он каждого, и было приятно смотреть, как на каждом шагу просто и непринужденно проявлялись его изящество и благовоспитанность. Он спешил подать пальто даме, направляющейся в гардероб, для каждого ребенка находился у него ласковый взгляд или шутка, был он обходителен, но без малейшей развязности; короче говоря, это был, видимо, один из тех счастливых, которым уверенность, что всех пленяет их ясное лицо и юношеское обаяние, придает еще большую привлекательность. На людей пожилых и болезненных, а их здесь было большинство, его присутствие влияло благотворно. Своей свежестью, жизнерадостностью, победной улыбкой юности, которая свойственна неотразимо обаятельным людям, он сразу же завоевал всеобщую симпатию.

Через два часа после своего приезда он уже играл в теннис с дочерьми толстенького бланшевого фабриканта из Лиона – двенадцатилетней Аннет и тринадцатилетней Бланш, а их мать, хрупкая, изящная, сдержанная мадам Анриэт, с легкой улыбкой наблюдала, как ее неопе-

⁸ Непринужденная беседа (*англ.*).

рившиеся птенчики бессознательно кокетничают с молодым незнакомцем. Вечером он около часа смотрел, как мы играем в шахматы, рассказал несколько забавных анекдотов, долго прогуливался по набережной с мадам Анриэт – муж ее, как всегда, играл в домино со своим приятелем, фабрикантом из Намюра, – а поздно вечером я застал его в полутемной конторе отеля за интимной беседой с секретаршей. На следующее утро он сопровождал датчанина на рыбную ловлю, обнаружив при этом поразительные познания, затем долго беседовал с лионским фабрикантом о политике и, видимо, также показал себя интересным собеседником, ибо сквозь шум прибоа слышался раскатистый хохот толстяка фабриканта. После обеда (я намеренно, для ясности, так подробно сообщаю о его времяпрепровождении) он опять просидел около часа с мадам Анриэт в саду, за черным кофе, потом играл в теннис с ее дочерьми, беседовал в вестибюле отеля с немецкой четой. В шесть часов я пошел на вокзал отправить письмо и вдруг увидел его. Он поспешил мне навстречу и, как бы извиняясь, сказал, что его неожиданно вызвали, но через два дня он вернется. За ужином он действительно отсутствовал, но только физически, так как за всеми столиками только и говорили что о нем, и все превозносили его приятный, веселый нрав.

Вечером, часов около одиннадцати, – я сидел у себя в комнате, дочитывая книгу, – вдруг в открытое окно, выходящее в сад, донеслись крики, взволнованные возгласы, и в отеле поднялась какая-то суматоха. Скорее обеспокоенный, чем подстрекаемый любопытством, я тотчас же спустился в сад и прошел пятьдесят шагов, отделявших нашу виллу от отеля; там я застал гостей и прислугу в необычайном волнении. Мадам Анриэт не вернулась с прогулки на берегу, которую она совершала каждый вечер, пока ее супруг, по заведенному порядку, играл в домино со своим приятелем. Опасались несчастного случая. Словно буйвол, метался по берегу этот обычно медлительный, грузный человек, и когда он кричал во тьму: «Анриэт! Анриэт!» – в его срывающемся от волнения голосе было что-то первобытное и страшное, напоминающее рев раненного насмерть огромного зверя. Кельнеры и мальчики-бои носились вверх и вниз по лестнице; разбудили всех живущих в отеле, позвонили в полицию. А толстый человек в растегнутом жилете кидался во все стороны и бессмысленно выкрикивал в темноту: «Анриэт! Анриэт!» Проснулись девочки и, стоя у окна в ночных рубашках, звали мать. Отец поспешил наверх, чтобы их успокоить.

И тут произошло нечто ужасное, что почти не поддается описанию, ибо в минуты чрезмерного душевного напряжения во всем облике человека столько трагизма, что не передать ни пером, ни кистью. Толстяк спустился по стонущим под его тяжестью ступеням с изменившимся, бесконечно усталым и вместе с тем гневным выражением лица. В руке он держал письмо.

– Верните всех, – сказал он управляющему еле слышным голосом. – Верните людей, ничего не нужно. Жена ушла от меня.

У этого смертельно раненного человека хватило выдержки, нечеловеческой выдержки, не показать своего горя перед столпившимися вокруг людьми, которые с любопытством на него глазели, а потом, испуганные, смущенные, пристыженные, от него отвернулись. Собрав последние силы, он прошел, ни на кого не глядя, в читальню и потушил там свет; потом мы услышали, как его тучное, грузное тело с глухим стуком опустилось в кресло, и до нас донеслись громкие, отчаянные рыдания, – так мог плакать только человек, никогда в жизни не плакавший. И это стихийное горе потрясло нас всех, даже самого ничтожного из нас. Ни один кельнер, никто из привлеченных любопытством гостей не осмелился улыбнуться или проронить слово соболезнования. Безмолвно, один за другим, словно пристыженные этим сокрушительным взрывом чувства, прокрались мы в свои комнаты, а там, в темной читальне, наедине с самим собой, всхлипывал этот убитый горем человек, пока один за другим гасли огни в доме, полном шепотов, шорохов и вздохов.

Естественно, что такое происшествие, разразившееся как удар грома у нас на глазах, сильно взволновало людей, привыкших к однообразному и беззаботному времяпровождению. Но хотя причиной тех ожесточенных стычек, которые возникли за нашим столом и чуть не привели к взаимным оскорблениям действием, и явился этот удивительный случай, суть спора была в глубоких разногласиях, в столкновении противоположных взглядов на жизнь. Благодаря нескромности горничной, прочитавшей письмо, которое супруг, не помня себя, в бес- сильном гневе скомкал и швырнул на пол, стало известно, что мадам Анриэт уехала не одна, а сговорившись с молодым французом (симпатии к которому у большинства теперь быстро убывали).

На первый взгляд не было ничего удивительного в том, что эта вторая мадам Бовари бросила своего толстого провинциала мужа ради элегантного молодого красавца. Но все в доме были сбиты с толку и возмущены известием, что ни фабрикант, ни его дочери, ни даже сама мадам Анриэт никогда раньше не видели этого ловеласа, и, следовательно, достаточно было двухчасовой вечерней прогулки по набережной и одного часа за черным кофе в саду, чтобы побудить тридцатитрехлетнюю порядочную женщину на другой же день бросить мужа и двоих детей и последовать очертя голову за совершенно незнакомым человеком. Этот, казалось бы, очевидный факт был единогласно отвергнут нашим застольным кружком; все усмотрели здесь вероломство и хитрый маневр любовников: само собой разумеется, мадам Анриэт уже давно находилась в тайной связи с молодым человеком, и этот сердеед явился сюда лишь для того, чтобы окончательно условиться о побеге. Совершенно невозможно, утверждали все, чтобы честная женщина после трехчасового знакомства вдруг сбежала по первому зову. Развлечения ради я начал спорить и энергично защищал возможность и даже вероятность такого внезапного решения у женщины, которая, томясь в долголетнем скучном супружестве, в душе готова уступить первому смелому натиску. Мои неожиданные возражения подлили масла в огонь, и спор сразу стал всеобщим; особенно разгорелись страсти, когда обе супружеские пары, как немецкая, так и итальянская, с прямо-таки оскорбительным презрением принялись отрицать *coup de foudre*⁹ как нелепость и пошлую романтическую выдумку.

Нет нужды излагать все подробности словесного боя, длившегося от супа до пудинга. За табльдотом остроумны только заправские остряки, а доводы, к которым прибегают в пылу случайного застольного спора, большей частью банальны и приводятся наспех, наобум. Трудно также объяснить, почему наш спор так быстро принял столь язвительный оборот, – думается, тут сыграло роль невольное желание обоих супругов исключить возможность такого легкомыслия и подобной опасности для своих жен. К сожалению, они не придумали ничего более удачного, чем возразить мне, что так может говорить только тот, кто судит о женщинах лишь по случайным, дешевым победам холостяка; это уже разозлило меня, а когда вдобавок немка начала авторитетным тоном поучать меня, что бывают настоящие женщины, а бывают и «проститутки по натуре», к которым, по ее мнению, принадлежит и мадам Анриэт, терпение мое лопнуло, и я, в свою очередь, перешел в наступление.

Я заявил, что лишь страх перед собственными желаниями, перед демоническим началом в нас заставляет отрицать тот очевидный факт, что в иные часы своей жизни женщина, находясь во власти таинственных сил, теряет свободу воли и благоразумие, и добавил, что некоторым людям, по-видимому, нравится считать себя более сильными, порядочными и чистыми, чем те, кто легко поддается соблазну, и что, по-моему, гораздо более честно поступает женщина, которая свободно и страстно отдается своему желанию, вместо того чтобы с закрытыми глазами обманывать мужа в его же объятиях, как это обычно принято. Вот примерно то, что я говорил, и чем яростней нападали другие на бедную мадам Анриэт, тем с большей горячностью я ее защищал (что, по правде сказать, не вполне отвечало моему внутреннему убеждению).

⁹ Любовь с первого взгляда; буквально – удар молнии (*фр.*).

Мои слова, точно уколы рапирой, задели за живое обе супружеские пары, и они нестройным квартетом так ожесточенно напустились на меня, что старый добродушный датчанин, наблюдавший за нами, словно судья с секундомером в руке на футбольном матче, был вынужден время от времени предостерегающе постукивать по столу: «Gentlemen, please»¹⁰. Но это помогло лишь на минуту. Один из супругов, красный как рак, уже раза три вскакивал из-за стола, и только уговоры жены едва сдерживали его пыл; еще немного – и дискуссия окончилась бы потасовкой, если бы миссис К. внезапно не пролила масло на бурные волны нашего спора.

Миссис К., представительная, пожилая англичанка с белоснежными волосами, по молчаливому уговору была почетной председательницей нашего стола. Она держалась очень прямо, была одинаково приветлива со всеми, говорила мало, но с интересом прислушивалась к разговорам окружающих: уже одна ее наружность оказывала благотворное действие. От нее веяло спокойствием и аристократической сдержанностью. Она ни с кем близко не сходилась и в то же время выказывала каждому знаки внимания; большей частью она сидела с книгой в саду, иногда играла на рояле и лишь изредка присоединялась к обществу или вела оживленный разговор. Ее присутствие было едва ощутимо, и, однако, мы все невольно подчинялись ей. И сейчас, как только она заговорила, нам стало очень стыдно, что мы так шумно и необузданно вели себя.

Миссис К. воспользовалась паузой, наступившей после того, как немец резко вскочил и тут же, по слову жены, покорно уселся на свое место. Она вдруг подняла свои ясные серые глаза, как-то нерешительно посмотрела на меня и потом деловито и четко по-своему уточнила предмет нашего спора:

– Итак, если я верно поняла вас, вы считаете, что мадам Анриэт... что женщина может быть вовлечена в неожиданную авантюру, что она может совершать поступки, которые за час до того ей самой показались бы немыслимыми и в которых ее нельзя винить?

– Я в этом убежден, сударыня, – ответил я.

– В таком случае вы отрицаете всякое мерило нравственности, и любое нарушение морали может быть оправдано. Если вы действительно считаете, что *crime passionnel*¹¹, как говорят французы, не преступление, то выходит, что государственное правосудие вообще излишне. Тогда без особого труда – а вы трудитесь на совесть, – добавила она с улыбкой, – можно обнаружить страсть в любом преступлении и оправдать его этой страстью.

Она говорила спокойно, почти весело, и это так понравилось мне, что я, невольно подражая ее деловитому тону, ответил полушутя-полусерьезно:

– Государственное правосудие решает такие вопросы, несомненно, строже, чем я: его долг – охранять общественную нравственность и благопристойность, и это вынуждает его осуждать, вместо того чтобы оправдывать. Я же, как частное лицо, не считаю нужным брать на себя роль прокурора: я предпочитаю профессию защитника. Мне лично приятнее понимать людей, чем судить их.

Ясные серые глаза миссис К. с минуту в упор смотрели на меня; она медлила с ответом. Я подумал, что она не все поняла, и уже собирался повторить ей сказанное по-английски, но она вновь стала задавать мне вопросы с удивительной серьезностью, словно экзаменуя меня.

– Разве, по-вашему, не позорно, не отвратительно, что женщина бросает своего мужа и двоих детей, чтобы последовать за первым встречным, не зная даже, достоин ли он ее любви? Неужели вы действительно можете оправдать такое легкомысленное и беспечное поведение уже не очень молодой женщины, которой хотя бы ради детей следовало вести себя более достойно.

– Повторяю, сударыня, – ответил я, – что я отказываюсь судить или осуждать. Вам я могу чистосердечно признаться, что я немного пересолил – бедная мадам Анриэт, конечно,

¹⁰ Господа, прошу вас (*англ.*).

¹¹ Преступление, вызванное страстью (*фр.*).

не героиня, даже не искательница сильных ощущений и менее всего смелая, страстная натура. Насколько я ее знаю, она лишь заурядная, слабая женщина, к которой я питаю некоторое уважение за то, что она нашла в себе мужество отдаться своему желанию, но еще больше она внушает мне жалость, потому что не сегодня завтра она будет очень несчастна. То, что она сделала, было, может быть, глупо и, несомненно, опрометчиво, но ни в коем случае нельзя назвать ее поступок низким и подлым. Вот почему я настаиваю на том, что никто не имеет права презирать эту бедную, несчастную женщину.

– А вы сами? Вы все так же уважаете ее? Вы не проводите никакой грани между порядочной женщиной, с которой вы говорили позавчера, и той, другой, которая вчера бежала с первым встречным?

– Никакой. Решительно никакой, ни малейшей.

– Is that so?¹² – невольно произнесла она по-английски; по-видимому, разговор необычайно ее занимал. После минутного раздумья она снова вопросительно посмотрела на меня своими ясными глазами.

– А если бы завтра вы встретили мадам Анриэт, скажем в Ницце, под руку с этим молодым человеком, поклонились бы вы ей?

– Конечно.

– И заговорили бы с ней?

– Конечно.

– А если... если бы вы были женаты, вы познакомили бы такую женщину со своей женой, как будто ничего не произошло?

– Конечно.

– Would you really?¹³ – снова спросила она по-английски, и в ее голосе прозвучало недоверие и изумление.

– Surely I would¹⁴, – ответил я ей тоже по-английски.

Миссис К. молчала. Казалось, она напряженно думала. Внезапно и как бы удивляясь собственному мужеству, она сказала, взглянув на меня:

– I don't know, if I would. Perhaps I might do it also¹⁵.

И с той удивительной непринужденностью, с какой одни англичане умеют учтиво, но решительно оборвать разговор, она встала и дружески протянула мне руку. Ее вмешательство водворило спокойствие, и в глубине души все мы, недавние враги, были признательны ей за то, что угрожающе сгустившаяся атмосфера разрядилась; перекинувшись безобидными шутками, мы вежливо откланялись и разошлись.

Хотя наш спор и закончился по-джентльменски, но после той вспышки между мною и моими противниками появилась известная отчужденность. Немецкая чета держалась холодно, а итальянцы забавлялись тем, что ежедневно язвительно осведомлялись у меня, не слыхал ли я чего-нибудь о «cara signora Henrietta»¹⁶. Несмотря на внешнюю вежливость, сердечность и непринужденность, прежде царившие за нашим столом, безвозвратно исчезли.

Ироническая холодность моих противников была для меня особенно ощутима благодаря исключительному вниманию, какое оказывала мне миссис К. Обычно на редкость сдержанная, не склонная к разговорам с сотрапезниками во внеобеденное время, теперь она нередко заговаривала со мной в саду и – я бы даже сказал – отличала меня, ибо хотя бы короткая беседа с ней была знаком особой милости. Откровенно говоря, она даже искала моего общества и поль-

¹² Так ли? (англ.)

¹³ В самом деле? (англ.)

¹⁴ Конечно, да (англ.).

¹⁵ Не знаю, как бы я поступила. Может быть, так же (англ.).

¹⁶ Дорогой синьоре Энриэтте (ит.).

зовалась всяким поводом, чтобы заговорить со мной; это было так очевидно, что мне могли бы прийти в голову глупые, тщеславные мысли, не будь она убеленной сединами старухой. Но о чем бы мы ни говорили, наш разговор неизбежно возвращался все к тому же, к мадам Анриэт; казалось, моей собеседнице доставляло какое-то непонятное удовольствие обвинять в непостоянстве и легкомыслии забывшую свой долг женщину. Но в то же время ее, видимо, радовало, что симпатии мои неизменно оставались на стороне хрупкой, изящной мадам Анриэт и что меня нельзя было заставить отказаться от этих симпатий. Она неуклонно возвращалась к этой теме, и я уже не знал, что и думать об этом странном, почти ипохондрическом упорстве.

Так продолжалось пять или шесть дней, и она все еще ни единым словом не выдала мне, почему эти разговоры так занимают ее. А в том, что это именно так, я окончательно убедился, когда однажды на прогулке упомянул, что мое пребывание здесь приходит к концу и что я думаю послезавтра уехать. На ее обычно невозмутимом лице отразилось волнение, и серые глаза омрачились.

– Как жаль, мне еще о многом хотелось поговорить с вами.

И с этой минуты, по овладевшей ею рассеянности и беспокойству, я понял, что она всецело поглощена какой-то мыслью. Под конец она сама, казалось, это заметила и, прервав беседу, пожала мне руку и сказала:

– Я сейчас не в силах ясно выразить то, что хотела бы сказать. Лучше я напишу вам.

И, против своего обыкновения, быстрыми шагами направилась к дому.

Действительно, вечером, перед самым обедом, я нашел у себя в комнате письмо, написанное ее энергичным, решительным почерком. К сожалению, в молодые годы я легкомысленно обходился с письменными документами, так что не могу передать ее письмо дословно; попытаюсь приблизительно изложить его содержание. Она писала, что вполне сознает всю странность своего поведения, но спрашивает меня, может ли она рассказать мне один случай из своей жизни. Это было очень давно и уже почти не имеет значения для ее теперешней жизни, а так как я послезавтра уезжаю, то ей будет легче говорить о том, что больше двадцати лет волнует и мучает ее. Поэтому, если я не сочту это с ее стороны назойливостью, она просит уделить ей час времени.

Письмо, содержание которого я передаю лишь вкратце, чрезвычайно меня заинтересовало: уже одно то, что оно было написано по-английски, придавало ему какую-то особую ясность и решительность. И все же ответ дался мне нелегко, и я изорвал три черновика, прежде чем написал следующее:

«Я очень польщен вашим доверием и обещаю ответить вам честно, если вы этого потребуете. Конечно, я не смею просить вас сказать мне больше, чем вы сами захотите. Но в рассказе своем будьте вполне искренни передо мной и перед самой собой. Повторяю, ваше доверие я считаю большой для себя честью».

Вечером записка была в ее комнате, и на следующее утро я получил ответ:

«Я с вами согласна – хороша только полная правда. Полуправда ничего не стоит. Я приложу все силы, чтобы не умолчать ни о чем ни перед самой собой, ни перед вами. Приходите после обеда ко мне в комнату... в мои шестьдесят семь лет я могу не опасаться кривотолков. Я не хочу говорить об этом в саду или на людях. Поверьте, мне и так было нелегко на это решиться».

Днем мы виделись за столом и чинно беседовали о безразличных предметах. Но в саду, когда я случайно ее встретил, она посторонилась с явным замешательством, и трогательно было видеть, как эта старая, седая женщина девически робко и смущенно свернула в боковую аллею.

Вечером, в назначенный час, я постучался к ней. Мне тотчас же открыли. Комната тонула в мягком полумраке, горела только маленькая настольная лампа, отбрасывая желтый круг света. Миссис К. непринужденно встала мне навстречу, предложила мне кресло и сама села

против меня; я чувствовал, что каждое движение было заранее продумано и рассчитано; и все же, очевидно, вопреки ее желанию, наступила пауза, которая становилась все тягостнее; но я не осмеливался заговорить, так как чувствовал, что в душе моей собеседницы происходит борьба сильной воли с не менее сильным противодействием. Снизу, из гостиной, доносились отрывочные звуки вальса; я усердно вслушивался, стремясь уменьшить гнетущую тяжесть молчания. Видимо, она тоже почувствовала томительно неестественную напряженность затянувшейся паузы, потому что вдруг вся подобралась, как для прыжка, и заговорила:

– Трудно только начать. Уже два дня, как я приняла решение быть до конца искренней и правдивой; надеюсь, мне это удастся. Может быть, вам сейчас еще непонятно, почему я рассказываю все это вам, совершенно чужому человеку. Но не проходит дня и даже часа, чтобы я не думала о том происшествии; я старая женщина, и вы можете мне поверить, что прямо невыносимо весь свой век быть прикованной к одному-единственному моменту своей жизни, одному-единственному дню. Ибо все, что я хочу вам рассказать, произошло на протяжении двадцати четырех часов, а ведь я живу на свете уже шестьдесят семь лет; до одури я повторяю себе: какое это имеет значение, если бы даже один-единственный раз в жизни я поступила безрассудно? Но не так-то легко отделаться от того, что мы довольно туманно называем совестью, и когда я услышала, как спокойно вы рассуждаете о случае с мадам Анриэт, я подумала: быть может, если я решусь откровенно поговорить с кем-нибудь об этом дне моей жизни, придет конец моим бессмысленным думам о прошлом и непрерывному самобичеванию. Будь я не англиканского вероисповедания, а католичкой, я давно бы нашла облегчение, рассказав все на исповеди, но такого утешения нам не дано, и потому я сегодня делаю довольно странную попытку – оправдать себя, поведав вам эту историю. Знаю, все это очень необычно, но вы приняли мое предложение без колебаний, и я благодарна вам за это.

Как я уже говорила, я хочу описать один-единственный день моей жизни, – все остальное кажется мне сейчас незначительным и, вероятно, будет скучно для других. То, как я жила до сорока двух лет, можно рассказать в двух словах. Мои родители были богатые лэндлорды, нам принадлежали большие фабрики и имения в Шотландии, и, как все тамошние старые дворянские семьи, мы большую часть года проводили в своих поместьях, а зимний сезон – в Лондоне. Восемнадцати лет я познакомилась с моим будущим мужем, который был младшим сыном в родовитом семействе Р. и десять лет прослужил офицером в Индии. Вскоре мы обвенчались и стали вести беззаботную жизнь людей нашего круга: три месяца в Лондоне, три месяца в поместьях, остальное время – в путешествиях по Италии, Испании и Франции. Ни малейшее облачко не омрачало нашей семейной жизни. Оба мои сына давно уже взрослые люди. Когда мне минуло сорок лет, мой муж внезапно скончался. Он нажил себе в тропиках болезнь печени, от которой и погиб в какие-нибудь две недели. Мой старший сын уже служил тогда во флоте, младший был в колледже, и вот за одну ночь я сразу осиротела, и это одиночество после стольких лет совместной жизни с близким человеком было для меня нестерпимой мукой. Остаться еще хоть день в опустевшем доме, где все напоминало о недавней смерти любимого мужа, было невозможно, и я решила провести ближайшие годы, пока сыновья не женятся, в путешествиях.

С этого момента жизнь стала для меня бессмысленной и ненужной. Муж, с которым в течение двадцати двух лет я делилась всеми своими помыслами и чувствами, умер, дети не нуждались во мне. Я боялась омрачить их юность своей тоской и печалью. У меня не было ни надежд, ни стремлений. Я поехала сначала в Париж, ходила там от скуки по магазинам и музеям, но город и вещи ничего не говорили мне, людей я избегала – я была в трауре и не выносила их почтительно соболезнающих взглядов. Я не могла бы рассказать, как прошли эти месяцы бесцельных скитаний; я как-то отупела и словно ослепла, помню только, что у меня все время было страстное желание умереть, но не хватало сил приблизить вожделенный конец.

На второй год моего вдовства и на сорок втором году жизни, не зная, как убить время, и спасаясь от гнетущего одиночества, я очутилась в марте месяце в Монте-Карло. Сказать по

правде, я поехала туда от скуки, гонимая томительной, подкатывающей к сердцу, как тошнота, душевной пустотой, которая требует хотя бы незначительных внешних впечатлений.

Чем сильнее было мое душевное оцепенение, тем больше тянуло меня туда, где быстрее вращалось колесо жизни; на тех, у кого нет своих переживаний, чужие страсти действуют так же возбуждающе, как театр или музыка.

Поэтому я нередко заглядывала в казино. Мне доставляло удовольствие видеть радость или разочарование игроков; их волнение, тревога хоть отчасти разгоняли мою мучительную тоску. К тому же, не будучи легкомысленным, мой муж все же охотно посещал игорный зал, а я с каким-то бессознательным пиететом подражала всем его былым привычкам; так и начались те двадцать четыре часа, которые были увлекательнее любой игры и на долгие годы омрачили мою жизнь.

В тот день я обедала с герцогиней М., моей родственницей; после ужина, чувствуя себя еще недостаточно усталой, чтобы лечь спать, я пошла в казино. Сама я не играла, а бродила между столами, наблюдая за людьми особым способом. Я говорю: особым способом, ибо этому научил меня покойный муж, когда однажды, соскучившись, я пожаловалась, что мне надоело наблюдать все время одни и те же лица: сморщенных старух, которые часами сидят здесь, прежде чем рискнуть сделать ставку, прожженных профессионалов и неизменных кокоток – всю эту сомнительную, разношерстную публику, гораздо менее живописную и романтическую, чем в скверных романах, где она изображается как *fleur d'élégance*¹⁷ и европейская аристократия. Притом не надо забывать, что двадцать лет назад, когда здесь сверкало настоящее золото, шуршали банкноты, звенели наполеондоры, стучали пятифранковые монеты, казино являло собой куда более привлекательное зрелище, чем новомодный помпезный игорный дом, где в наши дни пошлейшие туристы вяло спускают свои обезличенные жетоны. Впрочем, и тогда уже меня мало занимали бесстрастные лица игроков. Но вот мой муж, который увлекался хиромантией, показал мне свой способ наблюдать, и он в самом деле оказался куда интереснее и увлекательнее, чем просто следить за игрой: совсем не смотреть на лица, а только на четырехугольник стола, и то лишь на руки игроков, приглядываться к их поведению.

Не знаю, случалось ли вам смотреть только на зеленый стол, в середине которого, как пьяный, мечется шарик рулетки, и на квадратики полей, которые словно густыми всходами покрываются бумажками, золотыми и серебряными монетами, и видеть, как крупье одним взмахом своей лопатки сгребает весь урожай или часть его пододвигает счастливому игроку. Под таким углом зрения единственно живое за зеленым столом – это руки, множество рук, светлых, подвижных, настороженных рук, словно из нор выглядывающих из рукавов; каждая – точно хищник, готовый к прыжку, каждая иной формы и окраски: одни – голые, другие – взнузданные кольцами и позвякивающие цепочками, некоторые косматые, как дикие звери, иные влажные и вертлявые, как угри, но все напряженные и трепещущие от чудовищного нетерпения. Мне всякий раз невольно приходило в голову сравнение с ипподромом, где у старта с трудом сдерживают разгоряченных лошадей, чтобы они не ринулись раньше срока; они так же дрожат, рвутся вперед, становятся на дыбы.

Все можно узнать по этим рукам, по тому, как они ждут, как они хватают, медлят: корыстолюбца – по скрюченным пальцам, расточителя – по небрежному жесту, расчетливого – по спокойным движениям кисти, отчаявшегося – по дрожащим пальцам; сотни характеров молниеносно выдают себя манерой, с какой берут в руки деньги: комкают их, нервно теребят или в изнеможении, устало разжав пальцы, оставляют на столе, пропуская игру. Человек выдает себя в игре – это прописная истина, я знаю. Но еще больше выдает его собственная рука. Потому что все или почти все игроки умеют управлять своим лицом, – над белым воротничком виднеется

¹⁷ Верх изящества (*фр.*).

только холодная маска *impassibilité*¹⁸, они разглаживают складки у рта, стискивают зубы, глаза их скрывают тревогу; они укрощают дергающиеся мускулы лица и придают ему притворное выражение равнодушия. Но именно потому, что они изо всех сил стараются управлять своим лицом, которое прежде всего бросается в глаза, они забывают о руках, забывают о том, что есть люди, которые, наблюдая за их руками, угадывают по ним все то, что хотят скрыть наигранная улыбка и напускное спокойствие. А между тем руки бесстыдно выдают самое сокровенное, ибо неизбежно наступает момент, когда с трудом усмиренные, словно дремлющие пальцы теряют власть над собой: в тот краткий миг, когда шарик рулетки падает в ячейку и крупье выкрикивает номер, каждая из сотни или даже сотен рук невольно делает свое особое, одной ей присущее инстинктивное движение. И если научиться наблюдать это зрелище, как довелось мне благодаря пристрастию моего мужа, то такое многообразное проявление самых различных темпераментов захватывает сильнее, чем театр или музыка; я даже не могу вам описать, какие разные бывают руки у игроков: дикие звери с волосатыми скрюченными пальцами, по-паучьи загибающимися золотом, и нервные, дрожащие, с бледными ногтями, едва осмеливающиеся дотронуться до денег, благородные и низкие, грубые и робкие, хитрые и вместе с тем нерешительные – но каждая в своем роде, каждая пара живет своей жизнью, кроме четырех-пяти пар рук, принадлежащих крупье. Эти – настоящие автоматы, они действуют как стальные шелкающие затворы счетчика, они одни безучастны и деловиты; но даже эти трезвые руки производят удивительное впечатление именно по контрасту с их алчными и азартными собратьями; я бы сказала, что они, как полицейские, затянутые в мундир, стоят среди шумной, возбужденной толпы.

Особенное удовольствие доставляло мне узнавать привычки и повадки этих рук; через два-три дня у меня уже оказывались среди них знакомые, и я делила их, как людей, на симпатичных и неприятных: некоторые были мне так противны своей суетливостью и жадностью, что я отводила взгляд, как от чего-то непристойного. Всякая новая рука на столе означала для меня новое интересное переживание; иной раз, наблюдая за предательскими пальцами, я даже забывала взглянуть на лицо, которое холодной светской маской маячило над крахмальной грудью смокинга или сверкающим бриллиантами бюстом.

В тот вечер я вошла в зал, миновала два переполненных стола, подошла к третьему и, вынимая из портмоне золотые, вдруг услышала среди гулкой, страшно напряженной тишины, какая наступает всякий раз, когда шарик, сам уже смертельно усталый, мечется между двумя цифрами, – услышала какой-то странный треск и хруст, как от ломающихся суставов. Невольно я подняла глаза и прямо напротив увидела – мне даже страшно стало – две руки, каких мне еще никогда не приходилось видеть: они вцепились друг в друга, точно разъяренные звери, и в неистовой схватке тискали и сжимали друг друга, так что пальцы издавали сухой треск, как при раскалывании ореха. Это были руки редкой, изысканной красоты и вместе с тем мускулистые, необычайно длинные, необычайно узкие, очень белые – с бледными кончиками ногтей и изящными, отливающими перламутром лунками. Я смотрела на эти руки весь вечер, они поражали меня своей неповторимостью; но в то же время меня пугала их взволнованность, их безумно страстное выражение, это судорожное сцепление и единоборство. Я сразу почувствовала, что человек, преисполненный страсти, загнал эту страсть в кончики пальцев, чтобы самому не быть взорванным ею. И вот, в ту секунду, когда шарик с сухим коротким стуком упал в ячейку и крупье выкрикнул номер, руки внезапно распались, как два зверя, сраженные одной пулей. Они упали, как мертвые, а не просто утомленные, поникли с таким выражением безнадежности, отчаяния, разочарования, что я не могу передать это словами. Ибо никогда, ни до, ни после, я не видела таких говорящих рук, где каждый мускул кричал и страсть почти явственно выступала из всех пор. Мгновение они лежали на зеленом сукне вяло и неподвижно,

¹⁸ Бесстрастия (*фр.*).

как медузы, выброшенные волной на взморье. Затем одна, правая, стала медленно оживать, начиная с кончиков пальцев: она задрожала, отпрянула назад, несколько секунд металась по столу, потом, нервно схватив жетон, покатила его между большим и указательным пальцами, как колесико. Внезапно она изогнулась, как пантера, и бросила, словно выплюнула, стофранковый жетон на середину черного поля. И тотчас же, как по сигналу, встрепенулась и скованная сном левая рука: она приподнялась, подкралась, подползла к дрожащей, как бы усталой от броска сестре, и обе лежали теперь рядом, вздрагивая и слегка постукивая запястьями по столу, как зубы стучат в ознобе; нет, никогда в жизни не видела я рук, которые с таким потрясающим красноречием выражали бы лихорадочное возбуждение. Все в этом нарядном зале – глухой гул голосов, выкрики крупье, снующие взад и вперед люди и шарик, который, брошенный с высоты, прыгал теперь как одержимый в своей круглой, полированной клетке, – весь этот пестрый, мелькающий поток впечатлений показался мне вдруг мертвым и застывшим по сравнению с этими руками, дрожащими, задыхающимися, выжидающими, вздрагивающими, удивительными руками, на которые я смотрела как зачарованная.

Но больше я не в силах была сдерживаться: я должна была увидеть лицо человека, которому принадлежали эти магические руки, и боязливо – да, именно боязливо, потому что я испытывала страх перед этими руками, – мой взгляд стал нащупывать рукава и пробираться к узким плечам. И снова я содрогнулась, потому что это лицо говорило на том же безудержном, немислимо напряженном языке, что и руки; столь же нежное и почти женственно-красивое, оно выражало ту же потрясающую игру страстей. Никогда я не видела такого потерянного, отсутствующего лица, и у меня была полная возможность созерцать его как маску или безглазую скульптуру, потому что глаза на этом лице ничего не видели, ничего не замечали. Неподвижно смотрел черный остекленелый зрачок, словно отражение в волшебном зеркале того темно-красного шарика, который задорно, игриво вертелся, приплясывая в своей круглой тюрьме. Повторяю, никогда не видела я такого страстно напряженного, такого выразительного лица. Узкое, нежное, слегка удлиненное, оно принадлежало молодому человеку лет двадцати пяти. Как и руки, оно не производило впечатления мужественности, а казалось скорее лицом одержимого игорным азартом юноши; но все это я заметила лишь после, ибо в тот миг оно было все страсть и неистовство. Небольшой рот с тонкими губами был приоткрыт, и даже на расстоянии десяти шагов можно было видеть, как лихорадочно стучат зубы. Ко лбу прилипла светлая прядь волос, и вокруг крыльев носа что-то непрерывно трепетало, словно под кожей перекачивались мелкие волны. Его склоненная голова невольно подавалась все вперед и вперед, казалось, вот-вот она будет вовлечена в круговорот рулетки; и только тут я поняла, почему так судорожно сжаты его руки: лишь это противодействие, эта спазма удерживала в равновесии готовое упасть тело.

Никогда, никогда в жизни не встречала я лица, на котором так открыто, обнаженно и бесстыдно отражалась бы страсть, и я не сводила с него глаз, прикованная, зачарованная его безумием, как он сам – прыжками и кружением шарика. С этой минуты я ничего больше не замечала вокруг; все казалось мне бледным, смутным, расплывчатым, серым по сравнению с пылающим огнем этого лица, и, забыв о существовании других людей, я добрый час наблюдала за этим человеком, за каждым его жестом. Вот в глазах его вспыхнул яркий свет, сжатые узлом руки разлетелись, как от взрыва, и дрожащие пальцы жадно вытянулись – крупье пододвинул к нему двадцать золотых монет. В эту секунду лицо его внезапно просияло и сразу помолодело, складки разгладились, глаза заблестели, сведенное судорогой тело легко и радостно выпрямилось; свободно, как всадник в седле, сидел он, торжествуя победу, пальцы шаловливо и любовно перебирали круглые звенящие монеты, сталкивали их друг с другом, заставляли танцевать, мелодично позванивать. Потом он снова беспokoйно повернул голову, окинул зеленый стол взглядом молодой охотничьей собаки, которая ищет след, и вдруг рывком швырнул всю кучку золотых монет на один из квадратиков. И опять эта настороженность, это напряжен-

ное выжидание. Снова поползли от губ к носу мелкие дрожащие волны, судорожно сжались руки, лицо юноши исчезло, скрылось за выражением алчного нетерпения, которое тут же сменилось разочарованием: юношески возбужденное лицо увяло, поблекло, стало бледным и старым, взгляд потускнел и погас – и все это в одно-единственное мгновение, когда шарик упал не на то число. Он проиграл; несколько секунд он смотрел перед собой тупо, как бы не понимая, но вот, словно подхлестнутые выкриком крупье, пальцы снова схватили несколько золотых монет. Однако уверенности уже не было, он бросил монеты сперва на одно поле, потом, передумав, – на другое, и когда шарик уже был в движении, быстро, повинувшись внезапному наитию, дрожащей рукой швырнул еще две смятые бумажки на тот же квадрат.

Эта захватывающая смена удач и неудач продолжалась безостановочно около часа, и в течение этого часа, затаив дыхание, я ни на миг не отводила зачарованного взгляда от этого беспрерывно меняющегося лица, на котором, отливая и приливая, кипели все страсти; я не отрывала глаз от этих магических рук, каждый мускул которых пластически передавал всю подымающуюся и ниспадающую кривую переживаний. Никогда в театре не всматривалась я так напряженно в лицо актера, как в это лицо, по которому, словно свет и тени на ландшафте, пробегала беспрестанно меняющаяся гамма всех цветов и ощущений. Никогда не была я так увлечена игрой, как этим отраженным чужим волнением; если бы кто-нибудь наблюдал за мной в этот момент, он приписал бы мой пристальный, неподвижный, напряженный взгляд действию гипноза; и правда, мое состояние было близко к совершенному оцепенению; я не могла оторваться от этого лица, и все в зале – огни, смех, людей – ощущала лишь смутно, как желтую дымку, среди которой пламенело это лицо – огонь среди огней. Я ничего не слыхала, ничего не чувствовала, не замечала, как теснились вокруг люди, как другие руки внезапно протягивались, словно щупальца, бросали деньги или загребали их; я не замечала шарика, не слышала голоса крупье и в то же время видела, словно во сне, все происходящее по этим рукам и по этому лицу совершенно отчетливо, увеличенное, как в вогнутом зеркале, благодаря страстному волнению этого человека; падал ли шарик на черное или красное, крутился он или останавливался, мне незачем было смотреть на рулетку: все – проигрыш и выигрыш, надежда и разочарование – отражалось с невиданной силой в его мимике и жестах.

Но вот наступила ужасная минута: то, чего в глубине души я все время смутно опасалась, что томило меня, как надвигающаяся гроза, внезапно ударило по моим натянутым нервам. Снова шарик с коротким дребезжащим стуком ткнулся в углубление, снова наступила секундная пауза, – сотня людей затаила дыхание, голос крупье возвестил «ноль», и его проворная лопатка уже сгребала звякающие монеты и шуршащие бумажки. И в эту минуту крепко сжатые руки сделали невыразимо страшное движение; они как бы вскочили, чтобы схватить что-то, чего не было, и в изнеможении опустили на стол. Потом они внезапно ожили, сбегали со стола, стали карабкаться, как дикие кошки, по всему туловищу, вверх, вниз, вправо, влево, лихорадочно рыская по карманам – не завалилась ли где-нибудь забытая монета. Неизменно возвращались они пустыми, все яростней возобновляя свои бессмысленные, бесполезные поиски, а рулетка уже снова вертелась и игра продолжалась. Звенели монеты, двигались стулья, и тысячи негромких разнообразных шумов наполняли зал. Я дрожала, потрясенная ужасом: я переживала все это так отчетливо, словно то были мои пальцы, отчаянно рывшиеся в карманах и складках смятого платья в поисках хотя бы одной монеты. И вдруг сидевший против меня порывисто вскочил, как человек, которому тошнота подступила к горлу, стул с грохотом полетел на пол. Но, не замечая этого, не видя людей, испуганно и удивленно уступавших ему дорогу, он, шатаясь, побрел прочь.

Увидев это, я словно окаменела. Я тотчас же поняла, куда идет этот человек: на смерть. Кто так встает, не пойдет в гостиницу, в ресторан, к женщине, на станцию железной дороги, к чему-нибудь живому, а прямо бросится в пропасть. Даже самые зачерствелые в этом аду должны были почувствовать, что у него больше ничего нет – ни дома, ни в банке, ни у родных,

что он рискнул последним достоянием, что ставкой была его жизнь и теперь он побрел куда-то, откуда уже не вернется.

Все время я боялась этого, с первого же взгляда чутьем поняла, что здесь дело идет о чем-то более важном, чем выигрыш или проигрыш. Я чувствовала, что эта всепоглощающая страсть должна разрушить самое себя. И все же словно черная молния ослепила меня, когда я увидела, как жизнь внезапно ушла из его глаз и смерть серою пеленою застлала только что столь живое лицо. И так велика была сила воздействия его выразительных жестов, что, когда он сорвался с места и, пошатываясь, побрел прочь, я невольно ухватилась за стол; я ощутила всем своим существом нетвердость его походки, так же как до того всеми нервами, всеми фибрами души ощущала его игорный азарт. И что-то толкнуло меня; я должна была идти за ним, ноги сами пошли, я даже не сознавала, что делаю. Не обращая ни на кого внимания, не помня себя, я шла, я бежала по коридору к выходу.

Он стоял у вешалки, служитель подавал ему пальто. Но руки не повиновались ему, и служитель бережно, как больному, помогал ему попасть в рукава. Я видела, как он машинально полез в жилетный карман, чтобы дать на чай, но там было пусто. Тут он, казалось, вдруг вспомнил все, смущенно пробормотал несколько слов, снова, как в зале, рванулся вперед и тяжело, словно пьяный, начал спускаться по лестнице казино, провожаемый поначалу презрительной, а потом понимающей усмешкой служителя.

Все это было так страшно, что мне стало как-то стыдно следить за ним. Я отвернулась, смущенная тем, что как в театре наблюдаю чужое страдание, но тут же безотчетный страх снова подтолкнул меня. Я быстро накинула мантию и уже без всякой мысли, произвольно, как автомат, побежала в темноту за этим чужим человеком.

Миссис К. на мгновение остановилась. Она неподвижно сидела против меня и говорила почти без пауз, со свойственным ей спокойствием и обстоятельностью, видимо подготовившись и тщательно припомнив ход событий. Теперь она впервые запнулась и прервала свой рассказ.

– Я обещала вам и самой себе, – начала она не без волнения, – рассказать все с полной откровенностью. И теперь я прошу вас отнестись ко мне с полным доверием и не искать в моих поступках скрытых побуждений, которых я ныне, быть может, и не стыдилась бы, но которых тогда и в помине не было. Итак, повторяю, когда я выбежала на улицу за этим отчаявшимся игроком, я отнюдь не была влюблена в него и даже не думала о нем как о мужчине; ведь мне уже было за сорок, и после смерти мужа я ни разу не взглянула ни на одного мужчину. С этим было покончено навсегда; я должна вам это сказать, иначе вы не почувствуете весь ужас того, что потом произошло. Правда, мне трудно было бы определить чувство, которое с такой силой влекло меня тогда за этим несчастным; тут было и любопытство, но прежде всего страх перед чем-то ужасным, что я с первой же минуты ощутила. Страх перед невидимой тучей, нависшей над этим юношей. Но такие ощущения нельзя расчленять и анализировать уже потому, что они слишком внезапно, слишком властно овладевают вами. Вероятно, мой порыв был просто инстинктивным желанием помочь, – так оттаскивают в сторону ребенка, бегущего навстречу автомобилю. Разве объяснишь, почему люди, не умеющие плавать, бросаются с моста за утопающим? Они движимы неодолимой силой, эта сила толкает их в воду, не давая времени опомниться и сообразить, как это бессмысленно и опасно. И точно так же, не думая, не отдавая себе отчета, последовала я тогда за ним из игорного зала в вестибюль, а из вестибюля на площадку перед казино.

Я уверена, что и вы, да и всякий чуткий человек невольно поддастся бы этому тревожному любопытству, потому что нельзя себе представить более ужасного зрелища, чем этот молодой человек, не старше двадцати пяти лет, который, шатаясь точно пьяный, медленно, по-стариковски волоча непослушные ноги, тащился по лестнице. Спустившись вниз, он как мешок упал на скамью. И снова я содрогнулась, ибо ясно видела – это конченный человек. Так падает лишь

мертвый или тот, в ком ничто уже не цепляется за жизнь. Голова как-то боком откинулась на спинку, руки безжизненно повисли вдоль туловища, и в тусклом свете фонарей его можно было принять за человека, пустившего себе пулю в лоб. И вот – не могу объяснить, как возникло это видение, но внезапно оно предстало передо мной во всей своей страшной, почти осязаемой реальности: я увидела его застрелившимся; я была твердо уверена, что в кармане у него револьвер и что завтра его найдут на этой или на другой скамье мертвым и залитым кровью. Он упал, как падает камень в пропасть, не останавливаясь, пока не достигнет дна; я никогда не думала, что одним телодвижением можно выразить всю полноту изнеможения и отчаяния.

Теперь представьте себе мое состояние: я остановилась в двадцати или тридцати шагах от скамейки, где был неподвижно распростерт несчастный юноша, не зная, что предпринять, побуждаемая, с одной стороны, желанием помочь, с другой – удерживаемая унаследованной и привитой воспитанием боязнью заговорить на улице с незнакомым человеком. Газовые фонари тускло мерцали под затянутым тучами небом; изредка мелькала фигура прохожего; приближалась полночь, и я была почти наедине с этой мрачной тенью. Пять, десять раз порывалась я подойти к нему, но всякий раз меня останавливал стыд или, быть может, тайный страх: ведь падающий нередко увлекает за собой спасителя, и все время я сознавала нелепость и комичность своего положения; но я не могла ни заговорить, ни что-либо предпринять, ни покинуть его. И, надеюсь, вы поверите мне, что, быть может, целый час, бесконечный час, пока тысячи и тысячи всплесков невидимого моря отмеривали время, я в нерешительности топталась на месте, потрясенная и загнипнотизированная зрелищем полного изничтожения человека.

Но у меня не хватало мужества что-нибудь сказать или сделать, и я простояла бы так полночи или, повинувшись голосу благоразумия, пошла бы домой – помнится, я даже почти решилась бросить на произвол судьбы злополучного игрока, – как вдруг вмешательство стихийных сил положило конец моим колебаниям: начался дождь. Весь вечер нагоняло ветром с моря тяжелые весенние тучи, воздух был душный, чувствовалось, что небо нависло совсем низко, – и вот внезапно упала капля, а за ней хлынул подхлестнутый ветром тяжелый, сплошной ливень. Спасаясь от него, я бросилась под навес киоска, но, несмотря на раскрытый зонтик, неистовый вихрь, прыгая и крутясь, обдавал брызгами мое платье. Капли яростно ударялись о землю, и холодная водяная пыль попадала мне на лицо и руки.

Но – и это было так ужасно, что еще сейчас, спустя двадцать пять лет, как вспомню, сердце сжимается, – несчастный продолжал неподвижно сидеть на скамье под проливным дождем. Из всех сточных труб, булькая, бежала вода, из города доносился грохот экипажей, справа и слева мелькали темные фигуры с поднятым воротником: все живое пряталось, бежало, спасалось, искало убежища, и в людях и в животных чувствовался страх перед разбушевавшейся стихией – только этот черный человеческий комок на скамье не двинулся, не шелохнулся. Я уже говорила, что этот человек обладал магическим свойством выражать каждое свое чувство движением или жестом, и ничто, ничто на свете не могло с такой потрясающей силой передать отчаяние, полный отказ от самого себя, как бы смерть заживо, как эта неподвижность, это безжизненное, бесчувственное невнимание к ливню, это неимение сил подняться и пройти несколько шагов до укрытия, это мертвое равнодушие к собственному бытию. Ни один скульптор, ни один поэт, ни Микеланджело, ни Данте не заставили меня с такой силой почувствовать предельное отчаяние, предельную земную муку, как этот живой человек под бушующей стихией, слишком усталый, чтобы сделать малейшую попытку оградиться от нее. Я не могла этого вынести; я рванулась к нему сквозь холодный хлещущий дождь и встряхнула его: «Идемте!» Что-то мелькнуло в его мутном взгляде, он сделал слабое движение рукой, но не понял меня. «Идемте», – я дернула его за мокрый рукав уже с силой и почти сердито. Тогда он медленно, как-то безвольно поднялся со скамьи. «Что вам надо?» – спросил он, и у меня не было ответа, потому что я и сама не знала, куда его увести, только бы прочь отсюда, от этого холодного ливня, от этой бессмысленной, самоубийственной позы глубочайшего отчаяния! Я

не выпускала его руки и тащила безвольное тело все дальше, к киоску, где узкий выступ крыши хоть немного защитит нас от яростного натиска дождя и ветра. Больше я ни о чем не думала, ничего не хотела. Только бы втащить этого человека под крышу, на сухое место, – других мыслей у меня не было.

И вот мы очутились рядом на этом узком сухом местечке; за спиной у нас были закрытые ставни киоска, над головой – слишком маленький навес, и неутихающий ливень обдавал холодными брызгами нашу одежду и лица. Положение становилось невыносимым. Я просто не могла больше стоять рядом с этим насквозь промокшим чужим человеком. Но, притащив его сюда, я не могла и покинуть его без единого слова. Что-то должно было произойти, и я заставила себя здраво взглянуть на дело. Лучше всего, подумала я, отвезти его в экипаже к нему домой, а потом вернуться в свой отель; завтра он уже сам найдет выход. И я спросила человека, неподвижно стоявшего рядом со мной и пристально смотревшего в темноту:

– Где вы живете?

– У меня нет квартиры... Я только вечером приехал из Ниццы... ко мне нельзя.

Последние слова я поняла не сразу. Только потом мне стало ясно, что он принимал меня за... кокотку, за одну из тех женщин, которые толпами бродят по ночам около казино, в надежде выудить деньги у счастливого игрока или у пьяного. Да и что мог он еще подумать – ведь только теперь, когда я все это вам рассказываю, чувствую я всю невероятность и фантастичность моего положения; поистине, бесцеремонность, с какой я сорвала его со скамьи и потащила за собой, отнюдь не соответствовала поведению порядочной женщины. Но об этом я тогда не подумала; лишь позже и слишком поздно догадалась я о его чудовищном заблуждении относительно меня. Ибо иначе я никогда бы не произнесла тех слов, которые могли только усугубить недоразумение. Я сказала:

– Тогда надо взять комнату в отеле. Здесь вам нельзя оставаться. Вам надо где-нибудь укрыться.

Тут только я поняла его страшную ошибку, потому что он даже не повернулся ко мне, а насмешливо ответил:

– Нет, мне не надо комнаты, мне вообще ничего не надо. Не трудись, из меня ничего не выжмешь. Ты обратилась не по адресу, у меня нет денег.

Это было сказано с таким ужасающим равнодушием, этот промокший, вконец опустошенный человек стоял так безжизненно, бессильно прислонившись к стене, что я не успела даже мелочно, глупо обидеться, настолько я была потрясена. Мною владело чувство, возникшее в первую минуту, когда он, шатаясь, вышел из зала, и не покидавшее меня в течение последнего фантастически нелепого часа: живое существо, юное, дышащее, обречено на смерть, и я должна спасти его. Я подошла ближе.

– Не беспокойтесь о деньгах, идемте. Здесь вам нельзя оставаться, я как-нибудь устрою вас. Не беспокойтесь ни о чем. Только идемте скорей.

Он повернул голову – дождь глухо барабанил вокруг, и из водосточной трубы к нашим ногам сбегала вода, – и я поняла, что он впервые пытается разглядеть мое лицо в темноте. Он пошевелился, видимо медленно просыпаясь от своей летаргии.

– Ну, как хочешь, – сказал он сдаваясь. – Мне все равно. Ладно. Идем.

Я раскрыла зонтик, он подошел ко мне и взял меня под руку. Эта внезапная фамильярность была мне неприятна, она даже ужаснула меня, сердце сжалось от страха. Но я побоялась одернуть его, ведь если бы я теперь оттолкнула его, он бы погиб и все мои усилия пропали бы даром.

Мы прошли несколько шагов, отделявших нас от казино. Тут только я подумала: как же мне быть с ним дальше? Лучше всего, быстро решила я, отвезти его в какой-нибудь отель и сунуть в руку деньги, чтобы он мог переночевать и завтра уехать домой; что будет дальше – об этом я даже не думала. К казино то и дело подъезжали экипажи, я подозвала один из них, и мы

сели. Когда кучер спросил, куда ехать, я сперва не знала, что ответить. Я понимала, что моего промокшего до нитки спутника не примут в дорогом отеле, и была так неопытна в такого рода делах, что, не подумав о двусмысленности положения, крикнула кучеру:

– В какую-нибудь гостиницу попроще.

Кучер равнодушно погнал лошадей. Мой сосед не произносил ни слова; колеса громы-хали, и дождь яростно барабанил в стекло; запертая в этом тесном, похожем на гроб ящике, я испытывала такое чувство, словно я везла мертвое тело. Я старалась собраться с мыслями, найти какие-то слова, чтобы прервать гнетущее молчание, но мне ничего не приходило в голову. Через несколько минут экипаж остановился; я вышла первая, и пока мой спутник машинально, словно спросонья, захлопывал дверцу, я расплатилась с кучером. Мы очутились у подъезда маленькой незнакомой гостиницы; узенький стеклянный навес защищал нас от дождя, который с яростным упорством рвал и кромсал непроглядную тьму.

Мой спутник, словно изнемогая под тяжестью собственного тела, прислонился к стене; вода капала с его мокрой шляпы и измятой одежды. Словно его только что вытащили из реки и еще не привели в чувство, стоял он там, и у его ног образовался ручеек стекающей воды. Он даже не пытался отряхнуться, скинуть шляпу, с которой капли одна за другой падали на лицо. Ему было все равно. Я даже описать вам не могу, как поразила меня эта надломленность.

Но надо было действовать. Я опустила руку в сумочку.

– Вот вам сто франков, – сказала я, – возьмите себе комнату, а утром уезжайте обратно в Ниццу.

Он удивленно взглянул на меня.

– Я наблюдала за вами в игорном зале, – продолжала я, заметив, что он колеблется. – Я знаю, что вы все проиграли, и боюсь, что вы собираетесь сделать глупость. Нет ничего стыдного в том, чтобы принять помощь. Вот, возьмите!

Но он отвел мою руку с неожиданной силой.

– Ты молодчина, – сказал он, – но не бросай деньги на ветер. Мне уже ничем не поможешь. Буду я спать этой ночью или нет – совершенно безразлично. Завтра все равно конец. Мне уже не поможешь.

– Нет, вы должны взять, – настаивала я. – Завтра вы будете думать иначе. А покамест поднимитесь наверх и хорошенько выспитесь. Днем вам все покажется в другом свете.

Но когда я протянула ему деньги, он почти злобно оттолкнул мою руку.

– Оставь, – повторил он глухо, – нет смысла. Лучше я сделаю это на улице, чем кровью пачкать людям комнату. Сотня франков меня не спасет, да и тысяча тоже. Я все равно завтра опять пошел бы в казино и играл бы до тех пор, пока не спустил бы всего. К чему начинать снова? Хватит с меня.

Вы не можете себе представить, как глубоко проникал мне в душу этот глухой голос. Подумайте только: рядом с вами стоит, дышит, живет красивый молодой человек, и вы знаете, что, если не напрячь все силы, эта мыслящая, говорящая, дышащая юность через два часа будет трупом. И тут меня охватило яростное, неистовое желание победить это бессмысленное сопротивление. Я схватила его за руку:

– Довольно! Вы сейчас же поднимитесь наверх и возьмете комнату, а завтра утром я отвезу вас на вокзал. Вы должны уехать отсюда, вы должны завтра же уехать домой, и я не успокоюсь до тех пор, пока не увижу вас в поезде с билетом в руках. В ваши годы не швыряются жизнью из-за проигрыша в несколько сот или тысяч франков. Это трусость, истерия, бессмысленная злоба и раздражение. Завтра вы сами признаете, что я права.

– Завтра! – повторил он с мрачной иронией. – Завтра. Если бы ты знала, где я буду завтра! Если бы сам я это знал, – это даже любопытно. Нет, ступай домой, милая, не трудись и не бросай деньги на ветер.

Но я не уступала. Во мне была какая-то одержимость, какое-то неистовство. Я крепко схватила его руку и сунула в нее банкноты.

– Вы возьмете деньги и сейчас же пойдете наверх. – С этими словами я решительно подошла к звонку. – Так, теперь я позвонила, сейчас выйдет портье, вы подниметесь и ляжете спать. Завтра утром, ровно в девять, я жду вас здесь и отвожу на вокзал. Не заботьтесь больше ни о чем, я все устрою, чтобы вам добраться до дому. А теперь ложитесь, вам надо выспаться, не думайте больше ни о чем!

В ту же минуту щелкнул замок, и дверь отворилась.

– Идем, – вдруг решительно произнес мой спутник жестким, озлобленным тоном, и я почувствовала, как его пальцы словно железным обручем сдавили мне руку. Я испугалась. Я так страшно испугалась, что меня словно оглушило, в уме помутилось... Я хотела сопротивляться, вырваться... но воля моя была парализована... и я... вы меня поймете... я... не могла же я бороться с этим чужим мне человеком – мне было стыдно перед портье, который стоял в дверях, дожидаясь, когда мы войдем. И вот... я очутилась в гостинице. Я хотела что-то сказать, объяснить, но не могла произнести ни звука; на моей руке тяжело и властно лежала его рука... я смутно сознавала, что он ведет меня по лестнице... звякнул ключ...

И я оказалась наедине с этим чужим человеком, в чужой комнате, в какой-то гостинице, названия которой я не знаю и по сей день.

Миссис К. снова умолкла и вдруг встала с кресла. Видимо, голос изменил ей. Она подошла к окну, несколько минут молча смотрела на улицу или, может быть, просто стояла, прижавшись лбом к холодному стеклу. Я не смел взглянуть на нее, мне было тяжело видеть старую женщину в таком волнении, и я сидел не шевелясь, не задавая вопросов, не произнося ни слова, и ждал. Наконец она вернулась к креслу и спокойно села против меня.

– Ну вот – самое трудное сказано. И, надеюсь, вы поверите мне, если я повторю вам и поклянусь всем святым для меня – моей честью, моими детьми, – что до той минуты мне и в голову не приходила мысль о... о близости с этим чужим человеком, что не только не по своей воле, но совершенно бессознательно я очутилась в этом положении, как в западне, расставленной на моем ровном жизненном пути... Я поклялась быть искренней перед вами и перед самой собой и повторяю: я была вовлечена в эту трагическую авантюру только из-за какого-то исступленного желания помочь; ни о каких личных чувствах или побуждениях и речи быть не могло.

Вы избавите меня от рассказа о том, что произошло в той комнате в ту ночь; я все помню и ничего не хочу забывать. В ту ночь я боролась с человеком за его жизнь; повторяю – дело шло о жизни и смерти. Слишком ясно я чувствовала, что этот чужой, уже почти обреченный человек жадно и страстно хватается за меня, как утопающий хватается за соломинку. Уже падая в пропасть, он цеплялся за меня со всем неистовством отчаяния. Я же всеми силами, всем, что мне было дано, боролась за его спасенье. Такие часы выпадают на долю человека только раз в жизни, и то одному из миллионов; не будь этого ужасного случая, и я никогда бы не узнала, как пылко, с какой исступленной и необузданной жадностью потерянный, пропавший человек упивается последней каплей живой, горячей жизни; никогда бы я, жившая до тех пор в полном неведении темных сил бытия, никогда бы я не постигла, как мощно и причудливо природа в едином дыхании переплетает жар и холод, жизнь и смерть, восторг и отчаяние. Эта ночь была так насыщена борьбой и словами, страстью, гневом и ненавистью, слезами мольбы и опьянения, что она показалась мне тысячелетием. И мы, в слитном порыве бросаясь в пропасть, один – неистово, другой – безотчетно, вышли из этого смертельного поединка преобразенные, с новыми помыслами, с новыми чувствами.

Но я не хочу говорить об этом. Я не могу и не стану ничего описывать. Скажу только о первой минуте своего пробуждения. Я очнулась от свинцового сна, сбросила с себя оковы такой бездонной ночи, какой никогда раньше не знала. Я долго не могла открыть глаза, и пер-

вое, что увидела, был чужой потолок у меня над головой, потом очертания чужой, незнакомой, отвратительной комнаты, в которой я неведомо как очутилась. Сначала я убеждала себя, что это сон, только более легкий, более прозрачный, в который я погрузилась после того удушливого, сумбурного кошмара; но за окнами был яркий, режущий солнечный свет, снизу доносился уличный шум, стук колес, трамвайные звонки и людские голоса. И тут я поняла, что не сплю, что это явь. Невольно я приподнялась, силясь припомнить, где я, и вдруг я увидела – мне никогда не передать вам охватившего меня ужаса – чужого человека, спавшего рядом со мной на широкой кровати... чужого, чужого, совсем чужого, полуголого, незнакомого человека...

Нет, этот ужас не поддается описанию; он сразил меня, и я без сил опустилась на подушки. Но то был не спасительный обморок, не потеря сознания, напротив – я мгновенно вспомнила все страшное, непостижимое, что случилось со мной; у меня было одно желание – умереть от стыда и отвращения. Как могла я очутиться в какой-то подозрительной трущобе, в чужой кровати, с незнакомым человеком! Я отчетливо помню, как у меня перестало биться сердце; я задерживала дыхание, словно этим могла прекратить жизнь и погасить сознание, это ясное, до жути ясное сознание, которое все понимало, но ничего не могло осмыслить.

Я никогда не узнаю, долго ли я так пролежала в оцепенении – должно быть, так лежат мертвецы в гробу; знаю только, что я закрыла глаза и взывала к Богу, к небесным силам, молила, чтобы это оказалось неправдой, вымыслом. Но мои обостренные чувства уже не допускали обмана, я слышала в соседней комнате людские голоса и плеск воды, в коридоре шаркали шаги, и эти звуки говорили, что все это правда, жестокая, неумолимая правда.

Трудно сказать, сколько времени продолжалось это мучительное состояние: такие мгновения обладают иной длительностью, чем спокойные отрезки времени. Но внезапно меня охватил другого рода страх, пронизывающий, леденящий страх: а вдруг этот человек, имени которого я не знала, проснется и заговорит со мной! И я тотчас же поняла, что мне остается лишь одно: одеться и бежать, пока он не проснулся, больше никогда не попадаться ему на глаза, не говорить с ним, спастись бегством, пока не поздно. Скорее прочь отсюда, в свою жизненную колею, в свой отель, и с первым поездом прочь из этого проклятого места, из этой страны! Больше никогда не встречаться с ним, не смотреть ему в глаза, не иметь свидетеля, обвинителя и соучастника! Эта мысль придала мне силы: осторожно, крадучись, воровскими движениями, дюйм за дюймом (лишь бы не шуметь!) пробиралась я от кровати к своему платью. Со всей осторожностью я оделась, дрожа всем телом, каждую секунду ожидая, что он проснется, – и вот удалось, я уже готова. Только шляпа моя лежала с другой стороны, в ногах кровати, и когда я подходила на цыпочках, чтобы взять ее, тут... я просто не могла поступить иначе: я должна была еще раз взглянуть на лицо этого чужого человека, который свалился в мою жизнь точно камень с карниза; лишь один раз хотела я взглянуть на него; и что самое удивительное: этот молодой человек, погруженный в сон, был действительно чужой для меня; в первый момент я даже не узнала его лица. Словно сметены были вчерашние, искаженные страстью, сведенные судорогой черты, – у этого юноши было совсем другое, совсем детское, мальчишеское лицо, сиявшее ясностью и чистотой. Губы, вчера закусенные и стиснутые, были мягко, мечтательно раскрыты и почти улыбались; волнистые белокурые пряди мягко падали на разгладившийся лоб, и ровное дыхание легкими волнами вздымало грудь.

Помните, я говорила вам, что никогда еще не видела выражения такого неистового азарта, как на лице этого незнакомца за игорным столом. Но никогда, даже у невинных младенцев, которые иногда во сне кажутся озаренными сиянием ангельской чистоты, не наблюдала я выражения такого лучезарного, такого поистине блаженного покоя. В этом лице, отражавшем тончайшие оттенки чувств, сейчас была райская отрешенность от всяческих забот и треволнений. При этом неожиданном зрелище с меня, словно тяжелый черный плащ, соскользнули все страхи и все опасения – мне больше не было стыдно, я почти радовалась. Все страшное, непостижимое вдруг обрело смысл, я испытывала радость, гордость при мысли, что, если бы я

не принесла себя в жертву, этот молодой, хрупкий, красивый человек, лежавший здесь безмятежно и тихо, словно цветок, был бы найден где-нибудь на уступе скалы окровавленный, бездыханный, с изуродованным лицом, с дико вытаращенными глазами; он был спасен, и спасла его я. И я смотрела материнским взглядом (иначе не могу назвать) на спящего, которого я вернула к жизни, как бы снова родив, с еще большими муками, чем собственных детей. Быть может, это звучит смешно, но в этой замызанной, омерзительной комнате, в мерзкой, грязной гостинице меня охватило такое чувство, словно я в церкви, блаженное ощущение чуда и святости. Из ужаснейшей минуты моей жизни возникла другая, самая изумительная, самая просветленная.

Задела я что-нибудь или у меня вырвалось какое-то слово – не знаю. Но спящий вдруг открыл глаза. Я вздрогнула от испуга. Он стал удивленно осматриваться, видимо, так же, как я, с трудом стряхивая с себя тяжелый, глубокий сон. Его взгляд недоуменно блуждал по чужой, незнакомой комнате, потом с удивлением остановился на мне. Но он еще не успел открыть рта, как я уже овладела собой: только не дать ему сказать ни слова, не допустить ни вопроса, ни фамильярного обращения, ничего не объяснять, не говорить о том, что произошло вчера и этой ночью!

– Мне надо уходить, – торопливо сказала я. – А вы одевайтесь. В двенадцать часов мы встретимся у входа в казино, там я позабочусь о дальнейшем.

И, не дожидаясь его ответа, я убежала, чтобы только не видеть этой комнаты; я бежала без оглядки из гостиницы, названия которой не знала, как не знала имени человека, с которым провела ночь.

Миссис К. на минуту прервала свой рассказ. Когда она вновь заговорила, в ее голосе уже не слышалось мучительного волнения. Как повозка, с трудом взобравшаяся на вершину, легко и быстро катится под гору, так непринужденно и свободно лилась теперь ее речь.

– Я бежала в свой отель по улицам, залитым утренним солнцем; после вчерашнего ливня воздух был чистый и легкий – и так же было у меня на душе. Вспомните, что я говорила вам: после смерти мужа я отказалась от жизни; дети больше не нуждались во мне, сама я была себе в тягость, а всякое существование без определенной цели – бессмысленно. Теперь впервые мне выпала задача: спасая человека, я огромным усилием воли вырвала его из небытия. Оставалось одолеть еще кое-какие препятствия, и моя цель была бы достигнута. Итак, я прибежала к своему отелю; портье встретил меня удивленным взглядом: ведь я вернулась домой только в девять утра; но мне и горя было мало, ни стыд, ни досада не угнетали меня. Желание жить, радостное сознание, что я кому-то нужна, горячо волновало кровь.

У себя в комнате я быстро переоделась, бессознательно (я заметила это только после) сняла траурное платье, заменив его более светлым, пошла в банк за деньгами, потом поспешила на вокзал справиться об отходе поезда; с необычайной энергией я сделала, кроме того, еще несколько дел. Оставалось только осуществить отъезд и окончательное спасение подкинутого мне судьбой человека.

Правда, нелегко было встретиться с ним, ибо все вчерашнее произошло во тьме, в каком-то вихре, как будто внезапно столкнулись два камня, низвергнутые водопадом; мы едва знали друг друга в лицо, я даже не была уверена, что незнакомец меня узнает. Вчера это был слепой случай, опьянение, безумие двух смятенных людей, а сегодня мне предстояло открыть ему больше о себе, чем вчера, ибо теперь, в ярком, беспощадном свете дня, я должна была предстать перед ним такою, какой была, – живую женщиной.

Но это оказалось проще, чем я думала. Не успела я в условленный час подойти к казино, как молодой человек вскочил со скамьи и поспешил мне навстречу. Сколько радостного удивления, детской непосредственности было в его как всегда красноречивых движениях! Он бросился ко мне, в глазах его сияла радостная и вместе с тем почтительная благодарность, и глаза эти смиренно потупились, уловив мое смущение. Так редко встречаешь в людях благодарность,

и как раз наиболее признательные не находят для нее слов; они неловко молчат, стыдятся своего чувства и нередко говорят невпопад, пытаясь скрыть его. Но этот человек, которого Бог, как некий таинственный ваятель, наделил даром предельно рельефно, осязаемо и красиво выражать все движения души, всем своим существом излучал страстную, горячую благодарность. Он нагнулся над моей рукой и, благоговейно склонив мальчишескую голову, на мгновение застыл, едва касаясь губами моих пальцев, затем отступил и справился о моем здоровье: в его словах, в его взгляде было столько скромной учтивости, что уже через несколько минут все мои опасения развеялись. И, словно отражая это просветление чувств, все кругом праздновало избавление от злых чар: море, такое грозное вчера, было теперь тихим и ясным, и каждый камешек под легкой зыбью сверкал белизной; казино, этот ад крошечный, подымало к чистым, отливающим сталью небесам свои мавританские фронтоны, а киоск, под навес которого загнал нас вчера хлещущий дождь, преобразился в цветочную лавку, где в живописном беспорядке среди зелени лежали груды белых, красных, желтых цветов и бутонов, которые продавала молодая девушка в ярко-пестрой блузке.

Я пригласила его пообедать со мной в маленьком ресторане, и там этот незнакомый юноша рассказал мне свою трагическую историю. Она полностью подтвердила все то, о чем я догадывалась, когда впервые увидела его дрожащие, нервно вздрагивающие руки на зеленом столе. Он происходил из старого аристократического рода галицийских поляков. Родители готовили его в дипломаты. Он учился в Вене и месяц назад успешно сдал свой первый экзамен. Чтобы отпраздновать этот день, дядя, у которого он жил, офицер генерального штаба, повез его в Пратер, и они вместе пошли на бега. Дяде посчастливилось, он угадал три раза подряд; с толстой пачкой выигранных денег они отправились ужинать в дорогой ресторан. На следующий день, в награду за успешно сданный экзамен, будущий дипломат получил от своего отца денежную сумму в размере месячного содержания; за два дня до того эта сумма показалась бы ему огромной, но теперь, после легкого выигрыша, он отнесся к ней равнодушно и пренебрежительно. Сразу же после обеда он снова поехал на бега, ставил необдуманно и азартно, и по прихоти счастья, или, вернее, несчастья, он после последнего заезда покинул Пратер, утроив полученную от отца сумму. И вот его охватила страсть к игре; он играл на ипподроме, в кафе, в клубах, и эта страсть пожирала его время, силы, нервы и прежде всего деньги. Он не мог больше ни о чем думать, потерял сон, а главное, уже не владел собой: один раз, ночью, вернувшись домой из клуба, где он все проиграл, он, раздеваясь, нашел в кармане еще одну забытую скомканную бумажку. Не устояв перед соблазном, он снова оделся и блуждал по улицам, пока не нашел в каком-то кафе двух-трех игроков в домино, с которыми и просидел до рассвета. Однажды его выручила замужняя сестра, уплатив долги ростовщикам, которые охотно ссужали деньгами наследника известной аристократической семьи. После этого ему сначала везло, но затем счастье неумолимо отвернулось от него, и чем больше он проигрывал, тем необходимей был решительный выигрыш, дабы покрыть просроченные обязательства и расплатиться с долгами чести. Он давно заложил свои часы, костюмы, и, наконец, случилось самое страшное: он украл из шкафа у старой тетки жемчужные серьги, которые она редко носила. Одну он заложил за крупную сумму, и в тот же вечер выиграл вчетверо больше. Но вместо того чтобы выкупить серьгу, он рискнул всем и проиграл. Кража еще не была обнаружена; тогда он заложил вторую и по внезапному наитию уехал поездом в Монте-Карло, чтобы добыть себе вожаемое богатство. Он уже продал свой чемодан, одежду, зонтик; у него не оставалось ничего, кроме револьвера с четырьмя патронами и маленького крестика с драгоценными камнями, подаренного крестной матерью, княгиней Х., с которым он долго не хотел расставаться: но и этот крестик он спустил накануне за пятьдесят франков только для того, чтобы вечером в последний раз испытать острое наслаждение игрой не на жизнь, а на смерть.

Все это он рассказывал мне с чарующей живостью и одушевлением. И я слушала его, увлеченная, захваченная, взволнованная; я и не думала возмущаться тем, что человек, сидя-

щий против меня, в сущности говоря, вор. Если бы накануне мне, женщине с безупречным прошлым, требовавшей в своем кругу строжайшего соблюдения светских условностей, кто-нибудь сказал, что я буду дружески беседовать с незнакомцем, который годится мне в сыновья и вдобавок украл жемчужные серьги, – я сочла бы того сумасшедшим. Но во время рассказа юноши я не чувствовала ничего похожего на ужас, – он говорил так естественно и убедительно, словно описывал болезнь, горячечный бред, а не преступление. И потом для того, кто, подобно мне, испытал прошлой ночью нечто столь потрясающе-неожиданное, слово «невозможно» потеряло всякий смысл. За эти десять часов я неизмеримо больше узнала о жизни, чем за сорок мирно прожитых лет.

Но нечто другое испугало меня во время этой исповеди: лихорадочный блеск его глаз, когда он рассказывал о своей игорной страсти, причем, словно от электрического тока, содрогались все мускулы лица. Одно воспоминание о пережитом уже волновало его, и его выразительное лицо с ужасающей четкостью отражало все перипетии игры. Невольно его руки, прекрасные, с тонкими пальцами, нервные руки, начали снова, как за зеленым столом, метаться по скатерти, точно затравленные зверьки; и когда он говорил, я видела, как они внезапно стали дрожать, корчиться и судорожно сжиматься, затем снова вскидывались и опять впивались друг в друга. А когда он признавался в краже драгоценностей, я невольно вздрогнула, – молниеносно подпрыгнув, они сделали быстрое хватающее движение. Я видела, видела воочию, как пальцы кинулись на драгоценность и ладонь словно проглотила ее. И с невыразимым ужасом я поняла, что этот человек до мозга костей отравлен своей страстью.

Только это и ужаснуло меня в его рассказе – рабское подчинение пагубной страсти молодого, чистого сердцем, от природы беспечного человека. И я сочла своим долгом на правах друга уговорить посланного мне судьбой питомца сейчас же уехать из Монте-Карло, где искушение так велико, и вернуться в свою семью, пока не замечена пропажа и еще можно спасти его карьеру. Я обещала дать ему денег на дорогу и на выкуп драгоценностей, но с условием, что он сегодня же уедет и поклянется мне своей честью больше никогда не дотрагиваться до карт и вообще не играть в азартные игры.

Никогда не забуду, с какой сперва смиренной, потом все просветляющейся, страстной благодарностью внимал мне этот чужой, пропащий человек, как он словно пил мои слова, когда я обещала ему помощь; внезапно протянув руки над столом, он схватил мои руки незабываемым благоговейным жестом, как бы давая священный обет. В его светлых, обычно чуть мутных глазах стояли слезы, он дрожал всем телом от волнения и счастья. Сколько раз я уже пыталась описать вам его необычайно выразительные жесты и мимику, – его взгляда в ту минуту я не могу передать: в нем был такой упоенный, такой неземной экстаз, какой редко можно увидеть на человеческом лице; он сравним лишь с той белой тенью, что иной раз мелькает при пробуждении, – словно видишь перед собой исчезающий лик ангела.

К чему скрывать: я не устояла перед этим взглядом. Благодарность всегда радуется, а ведь ее не часто видишь столь ясно, чуткость трогает сердце, и для меня, человека сдержанного и трезвого, такая экспансивность была чем-то благотворным, блаженно новым. И еще: не только этот несчастный юноша вернулся к жизни – после вчерашнего ливня ожила и вся природа. Когда мы вышли из ресторана, ослепительно сверкало уже совсем спокойное море, синева его сливалась с небесной лазурью, где парили белые чайки. Вы ведь знаете пейзаж Ривьеры. Он всегда красив, но он банален, как открытка с видом: он безмятежно предстает перед вами со своими неизменно яркими красками; это – сонная, ленивая красота, которая равнодушно открывает себя постороннему взгляду, как пышная красавица гарема. Но выпадают дни, правда очень редко, когда эта красота просыпается, прорывается наружу, словно громко окликает вас неистово сверкающими красками, победно швыряет вам в лицо пестрое изобилие своих цветов, горит, пылает чувственностью. И такой ликующий день родился из бушующего хаоса грозовой ночи; омытые дождем, поблескивали улицы, бирюзой отсвечивало небо, там и сям вспы-

хивали цветущие кусты – разноцветные факелы среди сочной, напоенной влагой зелени. Так прозрачен был пронизанный солнцем воздух, что горы словно посветлели и приблизились, – казалось, они с любопытством толпились вокруг отполированного, блистающего городка; во всем ощущался бодрящий, настойчивый зов природы, и сердце невольно покорялось ему.

– Возьмем экипаж, – сказала я, – и покатаемся по набережной.

Он радостно кивнул головой, – вероятно, впервые после приезда этот юноша видел и замечал природу. До сих пор он не знал ничего, кроме душного зала казино, пропитанного тяжелым запахом пота, скопища людей с обезображенными азартом лицами и неприветливого, серого, шумливого моря. А теперь перед нами грандиозным раскрытым веером лежало залитое солнцем взморье, и восхищенный взор блуждал по ясным далям. Мы медленно ехали в коляске (автомобилей тогда еще не было) по чудесной дороге, мимо бесчисленных вилл, – виды сменялись видами, и сотни раз, у каждого дома, у каждой виллы, притаившейся в зелени пиний, возникало тайное желание: здесь можно бы жить тихо, спокойно, вдали от мира...

Была ли я когда-нибудь в жизни счастливее, чем в этот час? Не знаю. Рядом со мной сидел молодой человек, вчера еще задыхавшийся в тисках смерти и рока, а теперь зачарованный искристым потоком солнца; он, казалось, помолодел на много лет. Он стал совсем мальчиком, красивым, резвым ребенком, с веселым и в то же время почтительным взглядом, и больше всего восхищала меня его чуткость: если подъем был слишком крут и лошадям приходилось трудно, он проворно соскакивал, чтобы подтолкнуть экипаж. Стоило мне указать на растущий близ дороги цветок, как он спешил сорвать его. Маленькую жабу, которая, соблазненная вечерним дождем, медленно ползла по дороге, он поднял и бережно отнес в траву, чтобы ее не раздавил проезжающий экипаж; и все время он, смеясь, рассказывал премилые смешные истории, и в этом смехе было для него спасение, ведь иначе он должен был бы петь, прыгать или безумствовать, такое восторженное опьянение владело им.

Когда мы медленно проезжали по крохотной горной деревушке, он вдруг почтительно снял шляпу. Я удивилась: кого приветствовал он здесь, чужой среди чужих? В ответ на мой вопрос он, слегка покраснев и словно оправдываясь, объяснил, что мы проехали мимо церкви, а у них в Польше, как во всех строго католических странах, с детства приучают снимать шляпу перед каждой церковью и каждой часовней. Это почтительное уважение к религии тронуло меня; вспомнив про крестик, о котором он упоминал, я спросила, верующий ли он, и когда он, несколько смущенный, скромно ответил, что надеется удостоиться благодати, мне неожиданно пришла в голову мысль.

– Стойте! – крикнула я кучеру и поспешно вышла из экипажа. Он в изумлении последовал за мной.

– Куда вы? – спросил он.

Я ответила только:

– Идите за мной.

Пройдя несколько шагов назад по дороге, мы приблизились к церкви – небольшой, сложенной из кирпича часовенке. Дверь была открыта. Смутно серели оштукатуренные голые стены, желтый клин света врезался в полумрак. Тускло мерцали две свечи, освещая маленький алтарь; пахло ладаном. Мой спутник снял шляпу, опустил руку в чашу со святой водой, перекрестился и преклонил колени. Как только он встал, я схватила его за руку.

– Подойдите, – сказала я, – к алтарю или священному для вас образу и дайте обет, который я вам подскажу.

Он посмотрел на меня удивленно, почти испуганно. Но тут же понял меня, подошел к одной из ниш, осенил себя крестом и послушно опустился на колени.

– Повторяйте за мной, – сказала я, дрожа от волнения, – повторяйте за мной: «Клянись...»

– Клянись, – повторил он.

Я продолжала:

– «...что никогда больше не приму участия в игре на деньги, какова бы она ни была, что никогда больше не стану рисковать своей жизнью и честью ради этой страсти».

С трепетом повторил он мои слова; отчетливо, громко прозвучали они в пустой церкви. Потом на мгновение стало тихо, так тихо, что снаружи донесся шелест листвы, по которой пробежал ветер. И тут он с внезапным порывом, словно кающийся грешник, в молитвенном экстазе, какого мне еще не приходилось видеть, начал быстро, неистовой скороговоркой, произносить непонятные мне слова на польском языке. То была пламенная молитва, молитва благодарственная и покаянная, ибо вновь и вновь в этой бурной исповеди его голова смиренно клонилась долу, все с большей страстностью лилась незнакомая речь, и все жарче, все более истово повторял он одно и то же слово. Ни до, ни после, ни в одной церкви мира не слыхала я такой молитвы. Его руки судорожно вцепились в спинку деревянной скамеечки, все тело сотрясалось от внутренней бури. Он ничего не видел, ничего не чувствовал; казалось, он пребывал в другом мире, в некоем очистительном огне преображения, или вознесся в иные, горные пределы. Наконец он медленно встал, перекрестился и устало повернулся ко мне. Колени у него дрожали, лицо было бледно, как у смертельно утомленного человека. Но когда он взглянул на меня, его глаза просияли, чистая, поистине благочестивая улыбка озарила его изможденное лицо; он подошел ближе, поклонился русским земным поклоном, взял мои руки в свои и благоговейно поднес их к губам.

– Вы посланы мне Богом, я возблагодарил Его.

Я не нашлась, что ответить. Но я от души пожелала, чтобы под низкими сводами вдруг зазвучал орган, ибо я чувствовала, что добилась своего: этот человек спасен мною навсегда.

Мы вышли из церкви на сияющий, льющийся потоком свет этого поистине майского дня; никогда мир не казался мне таким прекрасным. Еще два часа мы медленно катались по живописной дороге, извивавшейся среди холмов, и за каждым поворотом открывались все новые прелестные виды. Но мы молчали. После такого взрыва чувств все слова казались пошлыми. И когда мой взгляд случайно встречался с его взглядом, я смущенно отворачивалась, так сильно волновало меня зрелище сотворенного мной чуда.

Около пяти часов вечера мы вернулись в Монте-Карло. Мне предстоял визит к родственникам, от которого невозможно было уклониться. Откровенно говоря, в глубине души я жаждала покоя после пережитых волнений – слишком много было счастья. Я чувствовала, что мне нужно отдохнуть от этого состояния восторженного экстаза, впервые в жизни испытанного мной. Поэтому я попросила своего питомца только на минутку зайти ко мне в отель; там, в своей комнате, я передала ему деньги на дорогу и выкуп драгоценностей. Мы условились, что за время моего отсутствия он возьмет билет, а в семь часов встретимся в вестибюле вокзала за полчаса до прихода поезда, который через Геную увезет его домой. Когда я протянула ему пять банкнот, у него побелели губы.

– Нет... не надо денег... прошу вас, не надо денег... – глухо прошептал он, отдергивая дрожащие пальцы. – Не надо денег... не надо денег... я не могу их видеть, – повторил он, словно испытывая физическое отвращение или страх.

Но я успокаивала его, говорила, что даю ему в долг, – если он стесняется брать, может дать мне расписку.

– Да... да... расписку, – пробормотал он, отводя глаза, скомкал бумажки, как что-то липкое, приставшее к пальцам, сунул их, не глядя, в карман и быстро, размашисто набросал на листке несколько слов. Когда он поднял голову, лоб у него был влажный от пота – казалось, его била лихорадка; протягивая мне листок, он вздрогнул, словно ток пробежал по его телу, и вдруг – я невольно отшатнулась – он упал на колени и поцеловал край моего платья. В этом движении было столько чувства, что я задрожала всем телом; странное смятение охватило меня, я могла только прошептать:

– Благодарю вас за то, что вы так благодарны. Но, пожалуйста, уйдите теперь. В семь часов в вестибюле вокзала мы простимся.

Он взглянул на меня; слезы умиления застлали ему глаза; одно мгновение мне казалось, что он хочет что-то сказать, одно мгновение мне чудилось, что он сейчас устремится ко мне. Но вот он опять низко-низко поклонился и вышел из комнаты.

Миссис К. опять прервала свой рассказ. Она встала, подошла к окну и, не двигаясь, долго смотрела на улицу; плечи ее слегка дрожали. Вдруг она решительно обернулась: ее руки, доселе спокойные и безучастные, внезапно сделали резкое, порывистое движение, словно что-то разрывая. Затем она твердо, почти с вызовом взглянула на меня и продолжала:

– Я обещала, что буду говорить вполне откровенно. Сейчас я вижу, как необходимо было это обещание. Лишь теперь, когда я впервые заставляю себя описывать одно за другим все события этого дня и стараюсь облечь в ясные слова запутанный клубок смутных ощущений, лишь теперь я вижу многое, чего тогда не понимала или, быть может, не хотела понимать. И потому я хочу твердо и решительно сказать правду и себе и вам: тогда, в ту минуту, когда он вышел из комнаты и я осталась одна, я почувствовала убийственный удар в сердце, от которого у меня потемнело в глазах; что-то причинило мне жестокую боль, но я не знала или отказывалась знать – почему трогательная почтительность моего питомца так глубоко уязвила меня.

Но теперь, когда я заставляю себя беспощадно извлекать из памяти прошлое, глядя на него как бы со стороны, когда, призвав вас в свидетели, я не вправе ничего скрывать, трусливо утаивать чувства, в которых стыдно сознаваться, теперь у меня нет сомнений: то, что мне тогда причинило такую боль, было разочарование... этот юноша так покорно ушел... без всякой попытки удержать меня, остаться со мной... он так безропотно и почтительно покорился моей просьбе уехать, вместо того чтобы сжать меня в объятиях... он почитал меня только как святую, которая явилась ему на его пути, и не... не видел во мне женщины.

Это было разочарование... разочарование, в котором я не признавалась себе ни тогда, ни позже, но женщина все постигает сердцем, без слов. Потому что... теперь я себя больше на обманываю – если бы этот человек обнял меня в ту минуту, позвал меня, я пошла бы за ним на край света, я опозорила бы свое имя, имя своих детей... презрев людскую молву и голос рассудка, я бежала бы с ним, как мадам Анриэт с молодым французом, которого она накануне еще не знала... я не спросила бы, куда и надолго ли, даже не бросила бы прощального взгляда на свою прошлую жизнь... я пожертвовала бы для этого человека своим добрым именем, своим состоянием, своей честью... я пошла бы просить милостыню, и, наверно, нет такой низости, к которой он не мог бы меня склонить. Все, что люди называют стыдом и осторожностью, я отбросила бы прочь, если бы он сказал мне хоть слово, сделал бы хоть один шаг ко мне, если бы он попытался удержать меня; в этот миг я вся была в его власти.

Но... я уже говорила вам... этот одержимый человек больше не видел во мне женщины, а с какой силой, с какой преданностью рвалась я к нему, я ощутила, лишь когда осталась одна, когда страсть, которая только что промелькнула на его ясном, поистине неземном лице, сдавила мне грудь всей тяжестью неразделенного чувства.

Я с трудом овладела собой, с отвращением думая о предстоящем визите к родным. Мне казалось, что на голове у меня железный шлем, который стягивает лоб и пригибает меня к земле; когда я наконец пошла в отель напротив, где жили мои родственники, мысли у меня путались, а ноги заплетались. Я тупо сидела среди весело болтавших людей и всякий раз пугалась, когда, случайно подняв глаза, видела их неподвижные лица, которые, в сравнении с тем, оживленным словно игрой светотени, лицом, казались мне застывшими масками. Я точно окружена была мертвецами, до того безжизненно было это общество; и в то время как я клала сахар в чашку и рассеянно поддерживала разговор, передо мной с каждым биением сердца возникало другое лицо, наблюдать за которым стало для меня счастьем и которое я – страшно подумать! – через два часа должна была увидеть в последний раз. Я, должно быть, невольно

вздохнула или застонала, потому что кухня моего мужа наклонилась ко мне: что со мной, здорова ли я, я такая бледная, как будто чем-то удручена. Я тотчас воспользовалась ее вопросом, сказала, что у меня жестокая мигрень, и попросила разрешения незаметно удалиться.

Теперь я опять принадлежала себе; я поспешила в свой отель. И едва я очутилась одна, как меня снова охватило чувство пустоты и покинутости и проснулась тоска по этому юноше, которого я сегодня должна была покинуть навсегда. Я металась по комнате, без нужды выдвигала ящики, переменила платье, ленту; потом я стояла перед зеркалом и испытующим взором рассматривала себя: быть может, в таком наряде я все же могу приковать его внимание. И вдруг я осознала, чего я хочу: пойти на все, только не отпускать его! В течение одной роковой секунды это желание стало решением. Я сбежала вниз к портю и сообщила ему, что уезжаю с вечерним поездом. Надо было торопиться: я позвонила горничной, чтобы она помогла мне уложить вещи – времени оставалось в обрез; и пока мы с ней поспешно, наперегонки укладывали в чемоданы платье и всякую мелочь, я мечтала о том, как буду провожать его, и в последний, самый последний момент, когда он уже протянет мне руку для прощанья, вдруг, к его изумлению, войду вместе с ним в купе, чтобы провести с ним эту ночь, следующую – столько, сколько он захочет. Я была в каком-то чаду упоения; бросая платье в сундук, я, к удивлению горничной, громко смеялась. Я смутно сознавала, что потеряла самое себя. Когда слуга пришел за моим багажом, я с недоумением взглянула на него: трудно было думать о таких обыденных вещах, когда я себя не помнила от волнения.

Я очень боялась опоздать: вероятно, было уже около семи часов, до отхода поезда оставалось в лучшем случае двадцать минут; правда, утешала я себя, я иду не для того, чтобы попрощаться, раз я решилась сопровождать его, сопровождать до тех пор, пока он пожелает. Слуга вынес мои чемоданы, а я побежала к кассе отеля уплатить по счету. Управляющий уже протягивал мне сдачу, я уже собиралась уходить, как вдруг чья-то рука ласково дотронулась до моего плеча. Я вздрогнула. Это была моя кухня; обеспокоенная недомоганием, которое я перед ней разыграла, она пришла навестить меня. У меня потемнело в глазах. Я не могла принять ее: каждая секунда промедления могла оказаться роковой; но вежливость обязывала меня уделить ей хоть немного внимания.

– Ты должна лечь в постель, – настаивала она, – я уверена, что у тебя жар.

Наверно, так оно и было, потому что в висках у меня стучало, перед глазами мелькали синие круги – я была близка к обмороку. Отказавшись лечь, я благодарила ее за участие, хотя каждое слово жгло меня и мне очень хотелось вытолкнуть ее вон вместе с ее назойливыми заботами. Но непрощенная гостья не уходила, нет, не уходила; она предложила мне одеколон, не поленилась сама натереть мне виски, а я считала минуты, думала о нем, ломала голову, как бы мне избавиться от этого мучительного участия. И чем больше я волновалась, тем сильнее становилась ее тревога за меня; наконец она попыталась чуть не силой заставить меня подняться в номер и лечь. Но вдруг – среди ее уговоров – я бросила взгляд на висевшие в вестибюле часы: двадцать восемь минут восьмого, а в семь тридцать пять отходит поезд! И резко, порывисто, с грубым равнодушием отчаяния я сунула кухне руку: «Прощай, мне надо уходить», и, не обращая внимания на ее недоуменный взгляд, опрометью пробежала мимо удивленных лакеев, выскочила на улицу, бросилась к вокзалу. Уже по взволнованной жестикуляции слуги, который ждал меня с багажом на перроне, я поняла, что опаздываю. Я ринулась к барьеру, но меня остановил контролер: я забыла взять билет. И пока я отчаянно уговаривала его пропустить меня, поезд тронулся; дрожа всем телом, я напряженно вглядывалась, надеясь поймать в одном из окон хотя бы взгляд, поклон, привет. Но в торопливом беге поезда я уже не могла различить его лица. Все быстрее катились вагоны, и через минуту не осталось ничего, кроме черного, дымного облака.

Долго я простояла так, словно каменная, потому что слуга, наверно, несколько раз пытался заговорить со мной, прежде чем решился тронуть меня за руку. Тут я очнулась. Отне-

сти вещи обратно в отель? Прошло минуты две, пока я собралась с мыслями; нет, это невозможно! Вернуться туда после своего нелепого, сумасбродного отъезда – нет, ни за что на свете! Мне не терпелось поскорее остаться одной, и я велела сдать вещи на хранение. И только теперь, среди вокзальной суеты, в круговороте сменяющихся лиц, я попыталась обдумать, трезво обдумать, как мне превозмочь душившее меня чувство гнева, тоски и отчаяния, ибо – должна сознаться – мысль о том, что я по своей вине упустила последнюю встречу, жгла меня, точно раскаленным железом. Боль становилась все нестерпимее, и я едва удерживалась, чтобы не вскрикнуть. Вероятно, только в неповторимые минуты их жизни у людей бывают такие внезапные, как обвал, стремительные, как буря, взрывы страсти, когда все прожитые годы, все бремя нерастратченных сил сразу обрушиваются на человека. Никогда, ни до, ни после, не испытывала я такого крушения надежд, такой бессильной ярости, как в ту секунду, когда, решившись на самый отчаянный шаг, решившись одним ударом опрокинуть всю мою сбереженную, накопленную, устроенную жизнь, я внезапно очутилась перед неодолимой, бессмысленной стеной, о которую беспомощно билась моя страсть.

Что было потом? Конечно, я поступила так же бессмысленно; это было нелепо, глупо, мне даже стыдно об этом рассказывать, но я обещала себе, обещала вам ни о чем не умалчивать: я... я хотела вернуть его себе... то есть вернуть те мгновенья, которые провела с ним... меня неудержимо влекло туда, где накануне мы были вместе, – к скамье, с которой я его подняла, в игорный зал, где я его впервые увидела, и даже в тот притон, лишь бы снова, еще раз все пережить. А на другой день я намеревалась взять экипаж и поехать по набережной, по той же дороге, чтобы каждое слово, каждый жест снова ожили во мне, – да, так велико, так ребячливо было мое смятение! Но подумайте, как молниеносно обрушились на меня все эти события, – я ощущала их как один ошеломляющий удар. И теперь, так грубо пробужденная от своего опьянения, я хотела еще раз, капля за каплей, упиться мимолетно пережитым с помощью того магического самообмана, который мы называем воспоминанием; такое желание не всякий поймет; быть может, нужно пламенное сердце, чтобы это понять.

Итак, я прежде всего пошла в казино, чтобы разыскать стол, за которым он сидел, и там среди других рук представить себе его руки. Я вошла в зал. Я помнила, где он сидел, когда я впервые увидела его: за столом налево, во второй комнате. Мне так ярко рисовалось каждое его движение, что я с закрытыми глазами, ощупью нашла бы его место. Я направилась туда. И вот... когда, стоя в дверях, я бросила взгляд на толпу, со мной произошло нечто странное... там, на том же месте, где я его себе представляла, там сидел... что это – лихорадочный бред, галлюцинация?... – он... он, точно такой, каким только что рисовало его мое воображение... такой же, как вчера, с впившимися в шарик глазами, мертвенно-бледный... он... да, он...

Я так испугалась, что едва не вскрикнула. Но видение было так нелепо, так невыносимо, что я тут же овладела собой – я закрыла глаза. «Ты с ума сошла... ты бредишь... у тебя жар... – говорила я себе. – Ведь это невозможно, тебе померещилось... Полчаса назад он уехал». Только после этого я снова открыла глаза. Но, к моему ужасу, видение не исчезло: никаких сомнений – он по-прежнему сидел там... среди миллионов рук я узнала бы эти руки... нет, я не грезила, то был действительно он. Он не уехал, как поклялся мне, безумец сидел здесь, он принес сюда, на зеленый стол, деньги, которые я дала ему на дорогу, и, в полном самозабвении отдавшись своей страсти, играл, – пока я в отчаянии рвалась к нему всем сердцем.

Неистовый гнев овладел мною; все поплыло у меня перед глазами, и я едва не бросилась к нему, чтобы схватить за горло клятвopреступника, который так бесстыдно обманул мое доверие, надругался над моими чувствами, над моей преданностью! Но я вовремя справилась с собой. С нарочитой медлительностью (чего это мне стоило!) подошла я к столу и стала как раз против него; какой-то господин любезно уступил мне место. Два метра зеленого сукна разделяли нас, и я могла, как из театральной ложи, глядеть на него, видеть то самое лицо, которое два часа назад было озарено признательностью, сияло божественной благодатью, а теперь снова

было искажено адскими муками игорной страсти. Руки, те самые руки, которые сегодня днем в экстазе священнейшего обета сжимали спинку молитвенной скамьи, теперь, скрюченные, жадно, как сладострастные вампиры, перебирали деньги. Он выиграл, должно быть, много, очень много выиграл: перед ним выросла беспорядочная груда жетонов, луидоров и банковских билетов – целое богатство, в котором, блаженно потягиваясь, купались его пальцы, его дрожащие нервные пальцы. Я видела, как они любовно разглаживали и складывали бумажки, катали и вертели золотые монеты, потом вдруг швыряли пригоршню на один из квадратов. И тотчас же крылья носа начинали вздрагивать, окрик крупье отрывал его алчно сверкающие глаза от денег, он пристально следил за прыгавшим и дробно стучавшим шариком, весь уйдя в это созерцание, и только локти, казалось, были пригвождены к зеленому столу. Еще страшнее, еще ужаснее, чем в прошлый вечер, проявлялась его одержимость, ибо каждое его движение убивало во мне тот, другой, словно на золотом поле сияющий образ, который я легковерно запечатлела в своем сердце.

Мы были на расстоянии двух метров друг от друга, я в упор смотрела на него, но он не замечал меня. Он не видел меня, он никого не видел: взгляд его, оторвавшись от сложенных перед ним банкнот и монет, лихорадочно следил за шариком, когда тот начинал вертеться, потом снова устремлялся на деньги; в этом замкнутом кругу вращались все его мысли и чувства; весь мир, все человечество свелись для этого маньяка к куску разделенного на квадраты зеленого сукна. И я знала, что могу стоять здесь часами – он даже не заметит моего присутствия.

Но я не могла больше выдержать. Внезапно решившись, я обошла вокруг стола и, подойдя к нему сзади, крепко схватила его за плечо. Он обернулся и с недоумением посмотрел на меня остекленевшими глазами, совсем как пьяный, которого только что растолкали и который смотрит спросонья мутным, невидящим взглядом. Потом он, казалось, узнал меня, его дрожащие губы раскрылись, он радостно взглянул на меня и прошептал таинственно и доверительно:

– Все хорошо... Я так и знал, когда вошел и увидел, что он здесь... Я так и знал...

Я не поняла его. Я видела только, что он опьянен игрой, что этот безумец все забыл – свой обет, наш уговор, меня и весь мир. Но даже перед его безумием я не могла устоять и, невольно подчиняясь ему, с удивлением спросила, о ком он говорит.

– Вот тот старик, русский генерал без руки, – шепнул он, придвигаясь ко мне вплотную, чтобы никто не подслушал волшебной тайны. – Видите – с седыми бакенбардами, а за стулом стоит слуга. Он всегда выигрывает, я еще вчера наблюдал за ним, у него, наверно, своя система, и я всякий раз ставлю туда же, куда и он... Он и вчера все время выигрывал... Я только сделал ошибку – продолжал играть после того, как он ушел... Это была моя ошибка... Он выиграл вчера тысячу двадцать франков... и сегодня он каждый раз выигрывает. Я ставлю все время за ним... Теперь...

Вдруг он оборвал на полуслове – раздался резкий выкрик крупье: «Faites votre jeu!»¹⁹, и взгляд его жадно устремился туда, где важно и спокойно сидел седобородый русский; генерал не спеша поставил на четвертый номер сперва одну золотую монету, а затем, помедлив, вторую. Тотчас же столь знакомые мне дрожащие пальцы ринулись к кучке денег, и он швырнул горсть золотых монет на тот же квадрат. И когда через минуту крупье провозгласил «ноль» и одним взмахом лопатки очистил весь стол, он изумленным взглядом проводил свои утекающие деньги. Но вы думаете, он обернулся ко мне? Нет, он совершенно обо мне забыл, я выпала, исчезла, ушла из его жизни; всем своим существом он был прикован к русскому генералу, который хладнокровно подкидывал на ладони две золотые монеты, раздумывая, на какое бы число поставить.

¹⁹ Делайте ставку! (фр.)

Я не могу передать вам свой гнев, свое отчаяние. Но вообразите себе мою душевную боль: ради этого человека я пожертвовала всей своей жизнью, а для него я была только мухой, от которой лениво отмахиваются. Снова во мне поднялась волна ярости. Изо всех сил я схватила его за руку, так, что он вздрогнул.

– Вы сейчас же встанете! – тихо, но повелительно прошептала я. – вспомните, какую клятву вы дали мне сегодня в церкви, жалкий человек, клятвопреступник!

Он взглянул на меня с удивлением и вдруг побледнел. В глазах у него появилось виноватое выражение, как у побитой собаки, губы задрожали: казалось, он сразу все вспомнил и ужаснулся.

– Да... да... – пробормотал он. – Боже мой, боже мой!.. Да... я иду... Простите...

И его рука начала уже сгребать деньги, сначала быстро, порывисто-резкими движениями, но постепенно все медленнее, словно что-то ее удерживало. Его взгляд снова упал на русского генерала, который как раз делал ставку.

– Одну минуточку... – Он бросил пять золотых на тот же квадрат, что и генерал. – Только одну эту игру... Клянусь вам, я сейчас уйду... Только эту игру... последнюю...

Он умолк. Шарик завертелся и увлек его за собой. Снова этот одержимый ускользнул от меня, от самого себя, захлестнутый кружением полированного колеса, где бесновался крохотный шарик. Опять возглас крупье, опять лопатка смахнула его пять золотых: он проиграл. Но он не обернулся. Он забыл обо мне, как забыл свою клятву, слово, которое дал мне минуту назад. Снова его рука жадно потянулась к подтаявшей кучке денег, и его опьяненный взор был прикован, точно к магниту, к приносящему счастье визави.

Терпение мое истощилось. Я снова трянула его, но теперь уже с силой.

– Вставайте! Сейчас же... Вы сказали, только эту игру...

Но в ответ на мои слова он вдруг круто повернулся; на его лице, обращенном ко мне, уже не было ни тени смирения и стыда: то было лицо доведенного до иступления человека, глаза его пылали гневом, губы тряслись от ярости.

– Оставьте меня в покое! – прошипел он. – Уйдите! Вы приносите мне несчастье. Когда вы здесь, я всегда проигрываю. Вчера так было и сегодня опять. Уходите!

На мгновение я окаменела. Но его ярость разоггла и мой гнев.

– Я приношу вам несчастье? – сказала я. – Вы лгун, вы вор, вы поклялись мне...

Тут я остановилась, потому что он вскочил со стула и оттолкнул меня, даже не замечая, что вокруг нас поднялся шум.

– Оставьте меня! – громко крикнул он, забывшись. – Не нужна мне ваша опека... Вот... вот... вот вам ваши деньги! – И он швырнул мне несколько стофранковых билетов. – А теперь оставьте меня в покое!

Он прокричал это не помня себя, во весь голос, не обращая внимания на сотни людей вокруг. Все смотрели на нас, шушукались, указывали на нас, смеялись, даже из соседнего зала заглядывали любопытные. Мне казалось, что с меня сорвали одежду и я стою обнаженная перед этой глазающей толпой. «Silence, madame, s'il vous plait!»²⁰ – громко и повелительно сказал крупье и постучал лопаткой по столу. Ко мне, ко мне относился окрик этого гнусного наглеца. Уничтоженная, сгорая со стыда, стояла я перед насмешливо шепчущейся толпой любопытных, как девка, которой швырнули деньги в лицо. Двести, триста наглых глаз уставились на меня, и вот... когда, раздавленная унижением и позором, я отвела взгляд, я увидела глаза, в которых застыл ужас, – то была моя кузина, смотревшая на меня раскрыв рот и, словно в испуге, заслоняясь рукой.

²⁰ Потеше, мадам, прошу вас! (*фр.*)

Это сразило меня: не успела она пошевелинуться, прийти в себя, как я бросилась вон из зала; у меня хватило сил добежать до скамьи, той самой скамьи, на которую рухнул вчера этот безумец. И так же, как он, я упала на жесткое сиденье без сил, без воли, без мыслей.

С тех пор прошло двадцать пять лет, и все же, когда я вспоминаю о том, как я стояла там, униженная, втоптанная в грязь его оскорблением, перед толпой чужих людей, кровь стынет у меня в жилах. И я снова думаю о том, до какой степени слабо, жалко и ничтожно то, что мы так выпренне именуем душой, духом, чувством, что мы называем страданием, если все это не может разрушить страждущую плоть, измученное тело, если можно пережить такие часы и еще дышать, вместо того чтобы умереть, рухнуть, как дерево, пораженное молнией. Ведь боль, пронзившая меня до мозга костей, могла лишь на краткий миг повергнуть меня на скамью, где я замерла не дыша, ничего не сознавая, кроме предчувствия вожделенной смерти. Но я уже сказала – всякая боль труслива, она отступает перед могучим зовом жизни, чья власть над нашей плотью сильнее, чем над духом – все обольщения смерти.

Мне самой было непонятно, как я могла встать после такого потрясения; но все же я встала, правда не зная, что же мне теперь делать. Вдруг я вспомнила, что мои чемоданы уже на вокзале, и тотчас же вспыхнула мысль: прочь, прочь, скорее прочь отсюда, из этого проклятого места! Не глядя по сторонам, я побежала к вокзалу, спросила, когда отходит ближайший поезд в Париж; в десять часов, сказал мне швейцар, и я тотчас же сдала свои вещи в багаж. Десять часов – значит, пройдет ровно двадцать четыре часа после той роковой встречи, двадцать четыре часа, столь насыщенных бурными противоречивыми чувствами, что мой внутренний мир был навеки разрушен. Но вначале я ничего не сознавала, кроме одного слова, которое неумолчно стучало в висках, впивалось в мозг, словно вбиваемый клин: прочь! прочь! Прочь из этого города, прочь от самой себя, домой, к моим близким, к моей прежней, моей жизни! Утром я приехала в Париж, там – с одного вокзала на другой – и прямо в Булонь, из Булони – в Дувр, из Дувра – в Лондон, из Лондона – к моему сыну, прямым путем, без остановок, не рассуждая, не думая; сорок восемь часов без сна, без слов, без еды, сорок восемь часов, в течение которых колеса выстукивали все то же слово: прочь! прочь! прочь!

Когда я наконец нежданно-негаданно вошла в загородный дом моего сына, все испугались: должно быть, во всем моем облике, в моем взгляде было что-то выдававшее меня. Сын хотел обнять и поцеловать меня. Я отшатнулась: мысль, что он прикоснется к губам, которые я считала оскверненными, была мне невыносима. Я уклонилась от расспросов, велела только приготовить ванну, потому что испытывала потребность вместе с дорожной пылью смыть со своего тела последние воспоминания о страсти этого одержимого, недостойного человека. Потом я поднялась в свою комнату и проспала двенадцать-четырнадцать часов глухим, каменным сном, каким никогда в жизни не спала, таким сном, после которого я поняла, что значит мертвой лежать в гробу. Родные ухаживали за мною, как за больной, но их ласка причиняла мне боль; я стыдилась их почтительности, их уважения, и мне приходилось постоянно сдерживаться, чтобы не выкрикнуть им в лицо, как я их всех предала, забыла, чуть не покинула ради безумной, бешеной страсти.

Потом я поехала в захолустный французский городок, где никого не знала, ибо меня преследовала навязчивая идея, что всякий с первого взгляда может увидеть мой позор, перемену во мне, до такой степени чувствовала я себя опозоренной и поруганной. Порой, когда я просыпалась утром в своей постели, меня охватывал леденящий страх, я боялась открыть глаза. Снова овладевало мной воспоминание о той ночи, когда я внезапно пробудилась рядом с чужим, полуобнаженным человеком, и всякий раз, как и в ту минуту, у меня было одно желание – умереть.

Но время обладает великой силой, а старость умеряет жар души. Чувствуется близость смерти, ее черная тень падает на дорогу, все кажется менее ярким и уже не задевает так глубоко и меньше опасностей тебя подстерегает. Мало-помалу я оправилась от потрясения, и когда

много лет спустя мне представили молодого поляка, атташе австрийского посольства, и в ответ на мой вопрос о той семье он рассказал, что сын его родственника десять лет тому назад застрелился в Монте-Карло, – я даже не вздрогнула. Мне почти не было больно: быть может, – к чему скрывать свой эгоизм? – я была даже рада, потому что теперь мне нечего было бояться, что я когда-нибудь с ним встречу, никто уже не мог свидетельствовать против меня, кроме собственной памяти. С тех пор я стала спокойнее. Состариться – это ведь и значит перестать страшиться прошлого.

И теперь вы поймете, почему я решила заговорить с вами о себе, об этом случае в моей жизни. Когда вы так горячо защищали мадам Анриэт и утверждали, что двадцать четыре часа могут полностью изменить судьбу женщины, мне показалось, что речь идет обо мне; я была вам благодарна, потому что впервые почувствовала себя как бы оправданной. И я подумала: хоть раз излить душу, – быть может, тогда снимется проклятие с моих воспоминаний и я смогу завтра же пойти туда и переступить порог того самого зала, где меня подстерегала судьба, не питая ненависти ни к нему, ни к себе. Тогда камень свалится с моей души, ляжет всей своей тяжестью на прошлое, и оно уже никогда не воскреснет. Хорошо, что я смогла все это вам рассказать, теперь мне легко и почти радостно... Благодарю вас за это.

Миссис К. встала, и я почувствовал, что рассказ окончен. Несколько смущенный, я искал и не находил слов. Должно быть, она поняла это и быстро проговорила:

– Нет, прошу вас, не надо... я не хотела бы, чтобы вы отвечали мне или сказали что-нибудь... Благодарю вас за то, что вы меня выслушали, и желаю вам счастливого пути.

И она, прощаясь, протянула мне руку. Невольно я поднял глаза, и трогательно прекрасным показалось мне лицо этой старой женщины, которая приветливо и слегка смущенно глядела на меня. То ли отблеск минувшей страсти, то ли замешательство залило румянцем ее лицо до самых корней седых волос, – совсем как юная девушка стояла она передо мной, взволнованная воспоминаниями и стыдясь своего признания. Я был тронут, мне хотелось выразить ей свое уважение, но что-то сдавило мне горло. Тогда я низко склонился и почтительно поцеловал ее поблекшую, слегка дрожащую, как осенний лист, руку.